

М. П.
АРЦЫБАШЕВ

Избранное



Михаил Петрович Арцыбашев

Бунт

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2848955

Аннотация

«Это было большое, казарменнаго вида, бѣлое и скучное зданіе, плакавшее отекшей отъ сырости штукатуркой, но было построено какъ больница: такіе-же ровные и пустые коридоры, такія же большія, но тусклыя, съ прозрачными нижними стеклами, окна, такія же высокія бѣловатыя двери, съ номерками и надписями, и даже пахло здѣсь такъ же; мытымъ чистымъ бѣльемъ и карболкой. А самое непривѣтливое было то, что все здѣсь было черезчуръ чисто, пусто и аккуратно, какъ будто здѣсь жили не живые люди, а статистическія цифры...»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

Содержание

I	4
II	14
III	32
IV	41
V	48
VI	61
VII	66
VIII	72
IX	74
X	83
XI	93
XII	106
XIII	114

Михаил Петрович Арцыбашев Бунт

I

Это было большое, казарменнаго вида, бѣлое и скучное зданіе, плакавшее отекшей отъ сырости штукатуркой, но было построено какъ больница: такіе-же ровные и пустые коридоры, такія же большія, но тусклыя, съ прозрачными нижними стеклами, окна, такія же высокія бѣловатыя двери, съ номерками и надписями, и даже пахло здѣсь такъ же; мытымъ чистымъ бѣльемъ и карболкой. А самое непривѣтливое было то, что все здѣсь было черезчуръ чисто, пусто и аккуратно, какъ будто здѣсь жили не живые люди, а статистическія цифры.

Въ этотъ день богатая, хорошей фамиліи, молодая дама въ первый разъ пріѣхала для осмотра пріюта, такъ какъ ее только вчера выбрали вице-предсѣдательницей того общества, которое устроило этотъ пріютъ «для кающихся». Волоча по блестящему полу длинный шлейфъ и съ любопытствомъ и легкимъ смущеніемъ оглядываясь по сторонамъ, она прошла въ чистую и хорошо обставленную комнату «для членовъ

комитета», а за нею, размашисто и свободно переваливаясь и шаркая подошвами, прошел секретарь общества, красивый, статный человекъ въ золотомъ пенснэ.

– Ну-съ, Лидія Александровна, – съ небрежной шутовщицею избалованнаго женщинами мужчины сказалъ секретарь, – начнемъ съ пріема... новыхъ питомицъ нашего высоко нравственнаго учрежденія.

– Ну, ну, не смѣяться! – кокетливо погрозила ему Лидія Александровна и на мгновеніе задержала на немъ свои большіе, красивые и слегка подрисованные глаза.

Надзирательница пріюта, желтая и сухая дама, вдова офицера, угодливо улыбнулась и, отворивъ дверь въ коридоръ, громко и отчетливо сказала, точно считая:

– Александра Козодоева.

За дверью послышались неуверенные и торопливые шаги и вошла небольшая, полная, съ крутыми плечами и темными глазами женщина.

Лидія Александровна, сомнѣваясь, такъ-ли дѣлаетъ и шумя платьемъ, поднялась ей навстрѣчу.

«Вотъ онъ какія... эти... женщины!» подумала она съ интересомъ, и хотя была очень воспитана, прямо, съ брезгливымъ недоумѣніемъ, нѣсколько секундъ разсматривала ее. И ей все казалось, что это не настоящая женщина, а что-то такое искусственное, спеціально для пріюта сдѣланное.

Александра Козодоева испуганно и некрасиво косила глазами и молчала.

Секретарь быстро взглянул на нее, но убѣдился, что не знаетъ, и успокоился.

– Вы, кажется, Александра Козодоева?

– Да-съ, – отвѣтила дѣвушка, тяжело и подавленно вздыхая.

Ее давно уже всѣ звали Сашкой или Сашей, и ей было странно отзываться на полное имя и фамилію.

– Вы добровольно желаете вступить въ пріютъ? – официально и небрежно спросилъ секретарь.

– Да-съ, – опять испуганно отвѣтила Саша. Вблизи близорукой секретарь, щурясь, оглядѣлъ ее, точно цѣпляясь взглядомъ за всѣ круглыя и мягкія части ея тѣла. Саша поймала этотъ ищущій взглядъ и сразу ободрилась, будто натолкнувшись на что-то знакомое и понятное среди чужого и страшнаго.

– Мы получили уже ея документы, Лидія Александровна... Я распорядился устроить ее на мѣсто Ѳедоровой, – слегка пришепывая губами и уступая ей мѣсто, сказалъ секретарь.

Глаза Лидіи Александровны стали испуганными; она почувствовала, что теперь ей слѣдуетъ сказать что-то хорошее и не знала что.

– Это очень хорошо... что вы задумали, – торопливо и путаясь проговорила она, – вамъ будетъ теперь гораздо лучше и... васъ тамъ помѣстятъ... вы идите, я распоряджусь... Корделія Платоновна!..

– Не безпокойтесь, Лидія Александровна, – говоркомъ проговорила надзирательница. – Идемте, Козодоева.

Когда дѣвушка уходила, Лидія Александровна въ зеркало увидѣла прищуренные глаза секретаря, и ей вдругъ показалось, что онъ просто и близко сравниваетъ ихъ обѣихъ. Что-то оскорбительное ударило ей въ голову, она страннымъ голосомъ произнесла какую-то французскую фразу и нехорошо засмѣялась.

«Чего она смѣется?» промелькнуло у Саши въ головѣ.

– А она – ничего! – сказалъ секретарь, когда дверь затворилась.

Лидія Александровна Презрительно вздернула головой.

– У васъ нѣтъ вкуса... она груба, – съ безсознательнымъ, но острымъ чувствомъ физической ревности неловко возразила она.

Секретарь, щурясь, посмотрѣлъ на нее.

– Нѣтъ, я не нахожу... А вкусъ, гмъ... – многозначительно и самодовольно произнесъ онъ и, инстинктивно дразня женщину, прибавилъ:– она прелестно сложена.

Лидія Александровна почувствовала и поняла, что онъ зналъ много такихъ женщинъ, и, несмотря на то, что такой разговоръ нестерпимо шокировалъ ее, ей пришло въ голову только то, что она гораздо лучше, красивѣе, изящнѣе. И, невольно изгибаясь всѣмъ тѣломъ съ лѣниво-сладоострастной граціей, Лидія Александровна повернулась къ нему своей стройной мягкой спиной. Съ минуту она, чувствуя на себѣ

раздражающій опредѣленный взглядъ мужчины, мучительно старалась вспомнить что-то важное, несомнѣнное, что совершенно исключало всякую возможность сравненія ея съ этой женщиной, но не вспомнила и только презрительно и таинственно улыбнулась, и глаза у нея, томные и большіе, прикрылись и поблѣзли.

Желтая дама повела Сашу по коридорамъ, гдѣ встрѣчныя женщины, въ скверно сшитыхъ платьяхъ изъ дешевенькой синей матеріи, съ равнодушнымъ любопытствомъ смотрѣли на нихъ, и привела въ большую комнату, заставленную громоздкими шкафами и тяжело пропахшую нафталиномъ.

Двѣ толстыя простыя женщины, возившіяся съ грудями грязнаго прокисшаго бѣлья, сейчасъ же бессмысленно уставились на Сашу.

– Тутъ мнѣ и жить? – съ робкимъ и довѣрчивымъ любопытствомъ спросила Саша.

Желтая дама притворилась, что не слышитъ.

– Какъ фамилія? – отрывисто и въ упоръ спросила она.

И голосъ у нея былъ такой странный, что Саша невольно подумала:

«Какъ у дохлой рыбы!..»

– Чья? – машинально спросила она.

Глаза желтой дамы стали злыми.

– Ваша, конечно!

– Козодоева, моя фамилія, – тихо отвѣтила Саша, съ недоумѣніемъ припоминая, что желтая дама уже звала ее по фа-

мили.

– Вамъ это... переодѣться надо, – отрывисто, мелькомъ взглядывая на ея платье, сказала надзирательница.

Если бы Сашѣ въ эту минуту сказали, что ей надо выпрыгнуть въ окно съ четвертаго этажа, она бы и это сдѣлала, такъ была она сбита съ толку. Когда она рѣшила уйти отъ прежней жизни, ей казалось, что встрѣтитъ ее что-то свѣтлое, яростное, теплое и радостное. А то, что съ нею дѣлали теперь, было такъ сложно, странно, ненужно ей и непонятно, что она совсѣмъ не могла разобраться въ немъ.

«Такъ значить, нужно... они ужь знаютъ», – успокаивала она себя.

Саша, торопясь и путаясь въ тесемкахъ, стала раздѣваться, покорно отдавая свои кофточку, юбку, башмаки, чулки.

– Все, все – махнула рукой дама, когда Саша осталась въ одной рубашкѣ.

Саша торопливо спустила съ круглыхъ полныхъ плечъ рубашку и осталась голой.

Всѣ три женщины быстро осмотрѣли ее съ ногъ до головы, и вдругъ лицо желтой дамы перекопилось какимъ-то уродливымъ чувствомъ. Она думала, что это было презрѣніе къ тому, что дѣлала Саша своимъ тѣломъ, а это было смутное, инстинктивное чувство зависти безобразнаго, состарившагося тѣла, которое никому не было нужно, къ молодому, прекрасному, которое звало къ себѣ всѣхъ.

Саша стояла, согнувъ колѣни внутрь, и тупилась. Было

что-то унижительное въ томъ, что она была голая, когда всѣ были одѣты, и въ томъ, что ей было холодно, когда всѣмъ было тепло. Колѣни ея подрагивали, и мелкая, мелкая дрожь пробѣгала по нѣжной бѣло-розовой кожѣ, покрывая ее мелкими пупырышками. Желтая дама нарочно, сама не зная зачѣмъ, медлила, копаясь въ бѣльѣ. Саша старалась не смотрѣть вокругъ и стояла неподвижно, не смѣя прикрыться руками.

«Хоть бы ужъ скорѣе... – думала она, – ну, чего она тамъ... стыдно... холодно, чай»...

– Пожалуйста, скорѣй, – опять съ тою же ищущей мягкостью и робостью попросила она.

И опять надзирательница съ удовольствіемъ притворилась, что не слышитъ.

Саша тоскливо замолчала, а что-то тяжелое, недоумѣвающее будто поднялось съ пола и наполнило все и отодвинуло всѣхъ отъ, нея.

– Вотъ это ваше платье, – сказала дама и съ радостью кивнула Сашѣ такое же дранненькое синенькое платье, какое Саша уже видѣла въ коридорѣ.

– А... бѣлье? – съ трудомъ выговорила Саша и вся покраснѣла.

Ей пришло въ голову, что можетъ быть, здѣсь и бѣлья не полагается.

– А, да... берите, вотъ...

И бѣлье было грубое и дурное, совсѣмъ не такое, какое

привыкла носить Саша.

– Скорѣй, вы! – приказала желтая дама. Саша, опять то-ропясь и путаясь, одѣлась въ сшитое не по ней платье. Ей было неловко въ немъ и стыдно его, и тогда на одну секунду шевельнулась въ ней мысль! «И съ какой стати?»...

Но сейчасъ же она вспомнила, что она уже, почему-то, не имѣетъ права желать быть хорошо и красиво одѣтой, и тихо, путаясь въ подолѣ слишкомъ длинной юбки, пошла, куда ее повели.

Опять прошли по коридору и вошли въ высокую больничнаго вида комнату.

– Вотъ вамъ кровать, а вотъ тутъ будете свои вещи держать. Вамъ потомъ скажутъ, что полагается дѣлать, и когда обѣдъ, чай и все... тамъ...

Желтая дама ушла.

Саша сѣла на краюшекъ своей кровати, почувствовала сквозь тоненькую матерію синенькой юбки жесткое и колющее сукно одѣяла и стала искоса разглядывать комнату.

Тоненькія желѣзные кровати тоже стояли какъ въ больницѣ, только не было дощечекъ съ надписями, но Сашѣ сначала показалось, что и дощечки есть. Возлѣ каждой кровати стоялъ маленькій шкафчикъ, очевидно служившій и столикомъ, и деревянная, выкрашенная густой зеленой краской табуретка. Въ комнатѣ было еще пять женщинъ, которыя сначала показались Сашѣ будто на одно лицо.

Но потомъ она ихъ рассмотрѣла.

Рядомъ, на сосѣдной кровати, сидѣла толстая, рябая женщина и угрюмо поглядывала на Сашу, лѣниво распуская грязноватыя тесемки чепчика.

– Тебя какъ звать-то? – басомъ спросила она, когда встрѣтилась глазами съ Сашей.

– Александрой... Сашей... – отвѣтила Саша, и ее самое поразилъ робкій звукъ собственнаго голоса.

– Такъ... Александра! – помолчавъ, безразлично повторила рябая и почесала свой толстый, вялый животъ.

– Фамилія-то, чай, есть, – вдругъ сердито пробурчала она, – дура!

И повернувшись спиной къ Сашѣ, стала искать блохъ въ рубашкѣ.

Саша удивленно на нее посмотрѣла и промолчала.

Другая, совсѣмъ худенькая и маленькая блондинка, съ круглымъ животомъ и длиннымъ лицомъ, отозвалась:

– Вы ее не слушайте... она у насъ ругательница... По фамиліи у насъ говорятъ.

– Козодоева, моя фамилія, – застѣнчиво и торопливо сказала Саша.

Блондинка съ животомъ сейчасъ же встала и пересѣла на Сашину кровать.

– Вы, милая, изъ комитетскихъ? – спросила она ласково.

– Я... – замялась Саша, не понимая вопроса.

– Вамъ сколько лѣтъ-то?

– Два... двадцать два, – пробормотала Саша.

– Значить, по своей охотѣ?

– Сама, – отвѣчала Саша и застыдилась, потому что совершенно не могла въ эту минуту отдать себѣ отчета, дурно это или хорошо.

– А почему? – съ любопытствомъ спросила блондинка.

– Да... такъ, – съ недоумѣніемъ сказала Саша.

– Да оставь ты ее! – сказала третья женщина, и голосъ у нея былъ такой простой, ласковый и мягкій, что Сашу такъ и потянуло къ ней.

Но маленькая красивая женщина только весело кивнула ей головой и отошла.

II

Ночью, когда потушили огонь и Саша свернулась комочкомъ подъ холоднымъ и негнушимся одѣяломъ, все, что привело ее въ пріютъ, пронеслось передъ нею, какъ въ живой фотографіи, и даже ярче, гораздо ярче и ближе къ ея сознанию, чѣмъ въ дѣйствительности...

Саша тогда сидѣла у окна, смотрѣла на мокрую улицу, по которой шли мокрые люди, отражаясь въ мокрыхъ камняхъ исковерканными дрожащими пятнами, и ей было скучно и нудно.

Откуда-то, точно изъ темноты, вышла тощая кошка и хвостъ у нея былъ палочкой.

Далеко, за стеклами, гдѣ-то слышался стихающій и поднимающійся, какъ волна, гулъ какой-то могучей и невѣдомой жизни, а здѣсь было тихо и пусто, только кошка мяукнула раза два, Богъ знаетъ о чемъ, да по полутемному залу молчаливо и проворно шмыгали ногами худые полотеры.

Саша, какъ-то насторожившись, смотрѣла на заморенныхъ полотеровъ, чутко прислушиваясь къ отдаленному гулу за окномъ, и ей все казалось, что между полотерами и той жизнью есть что-то общее, а она этого никогда не узнаетъ.

Полотеры ушли, и терпкій трудовой запахъ мастики и по-та, который они оставили за собой, мало-по-малу улегся. Опять кошка мяукнула о чемъ-то.

Саша боязливо оглянула это пустое, мрачное мѣсто, съ холодной ненужной мебелью и роялемъ, похожимъ на гробъ, и ей стало страшно: показалось ей, что она совсѣмъ маленькая, всѣмъ чужая и одинокая. Люди за окномъ сверху казались точно придавленными къ мостовой, какъ черные безличныя черви, раздавленные по мокрымъ камнямъ.

Саша нагнулась, подняла кошку подъ брюхо и посадила на колѣни.

– ... Ур... м-мурр... – замурлыкала кошка, изгибая спину и мягко просовывая голову Сашѣ подъ подбородокъ.

Она была теплая и мягкая, и вдругъ слезы навернулись у Саши на глазахъ; и она крѣпко прижала кошку обѣими руками.

– ... Урр... м-ммуррр... ур... – мурлыкала кошка, закрывая зеленые глаза и вытягивая спинку.

– Милая... – съ страстнымъ желаніемъ въ одной ласкѣ вылить всю безконечно-мучительную потребность близости къ кому-нибудь шепнула Саша. И ей казалось, что она и кошка – одно, что кошка понимаетъ и жалѣетъ ее. Глаза стали у нея мокрые, а въ груди что-то согрѣлось и смягчилось.

– ... Уррр... – проурчала кошка и вдругъ разставила пальцы и выпустила когти, съ судорожнымъ сладострастіемъ впившись въ полное, мягкое колѣно Саши.

– Ухъ! – вздрогнула Саша и машинально сбросила кошку на полъ.

Кошка удивленно посмотрѣла не на Сашу, а прямо передъ

собою, точно увидѣла что-то странное. Съѣла, лизнула два раза по груди и, вдругъ поднявъ хвостъ палочкой, торопливо и озабоченно побѣжала изъ зала.

А Сашѣ стало еще тяжелѣе, точно что-то оборвалось внутри ея.

Пробило семь часовъ. Швейцарь пришелъ и, не обращая на Сашу никакого вниманія, дѣлая свое дѣло, нашарилъ шершавыми пальцами кнопку на стѣнѣ, и сразу вспыхнулъ веселый холодный свѣтъ. Заблестѣлъ паркетъ, стулья вдругъ отчетливо отразились въ немъ своими тоненькими ножками, рояль выдвинулся изъ темнаго угла.

Одна за другой пришли Любка и толстая рыжая Паша. Любка съѣла у рояля, понурившись, точно разсматривая подолъ своего свѣтло-зеленаго платья, а рыжая Паша стала вяло и безцѣльно смотрѣть въ окно.

Саша повертѣлась передъ зеркаломъ, тяжело вздохнула и что-то запѣла. Голось у нея былъ сильный, но непріятный.

– Не визжи, – вяло замѣтила Паша и прижала лицо къ стеклу.

– Чего тамъ увидѣла? – спросила Саша, безъ всякаго любопытства заглядывая черезъ ея толстое плечо.

– Ни-че-го, – сказала Паша, медленно поворачивая свои глупые, красивые глаза, за которые ее выбирали мужчины, – такъ, смотрю... что тамъ.

Саша тоже прижалась лбомъ къ холодному стеклу, за которымъ теперь, казалось, была холодная и бездомная тем-

нота. Сначала она ничего не видѣла, но потомъ темнота какъ будто раздвинулась и отступила, и Саша увидѣла ту же мокрую и пустую улицу. По ней, уходя тоненькой ниточкой вдаль, тускло и дрожа, горѣли, невѣдомо для кого фонари. И опять Саша услышала отдаленный могучій гулъ, отъ котораго чуть слышно дрожали стекла.

– Что оно тамъ? – съ глубокой тоской, непонятной ей самой, спросила Саша.

– Будто какой звѣрь рычить... гдѣ... – равнодушно проговорила Паша и отвернулась.

Саша посмотрѣла въ ея прекрасные, глупые глаза, и ей захотѣлось сказать что-то о томъ, что она чувствовала сегодня, глядя въ окно. Но это чувство только смутно было понято ею и глубже было ея словъ. Саша промолчала, а въ душѣ у нея опять появилось чувство неудовлетвореннаго и мучительнаго недоумѣнія.

«И что-й-то со мной подѣлалось сегодня?...» – съ тупымъ страхомъ подумала она и, подойдя къ Пашѣ вплотную, сказала тоскливо и невыразительно:

– Ску-учно мнѣ, скучно, Пашенька...

– Чего? – вяло спросила Паша.

Саша помолчала, опять мучительно придумывая, какъ сказать. Ей ясно представилось, какъ она сидѣла въ пустомъ, какъ могила, залѣ, одна-одинешенька, какою маленькой, никому ненужной, забытой чувствовала она себя, и какъ гдѣ-то далеко отъ нея гудѣла и шумѣла незнакомая большая жизнь,

и опять ничего не могла выразить.

– Жизнь каторжная! – съ внезапной, неожиданной для нея самой, злобой сказала она негромко и сквозь зубы.

Паша помолчала, тупо глядя на нее.

– Нѣтъ... ничего... – лѣниво проговорила она: – вотъ тамъ... – припомнила она, называя другой «домъ», подешевле гдѣ женщина стояла всего полтинникъ... – точно, нехорошо... всякій извозчикъ лѣзетъ, грязно, духъ нехорошій... дерутся... А тутъ ничего: мужчинки все благородно, не то чтобы тебѣ... и кормятъ хорошо... Тутъ ничего, жить можно...

Она опять помолчала и вдругъ, немного оживившись, прибавила:

– У насъ въ деревнѣ такой пищи во вѣкъ не увидишь!

– А ты изъ деревни? – спросила Саша съ страннымъ любопытствомъ.

– Я деревенская, – спокойно пояснила Паша, – у насъ иной разъ и объ эту пору ужъ хлѣбъ кончается... изъ недородныхъ мы... земли тоже мало... Картошкой живутъ, извозомъ мужики занимаются, а то и такъ... Деревня наша страсть бѣдная, мужики, которые, пьяницы... Кабы пошла замужъ, натерпѣлась бы... Сестру старшую, мою то-есть, мужъ веревкой до смерти убилъ... Въ острогъ его взяли потомъ... – совсѣмъ уже лѣниво договорила она и встала.

– Куда ты? – спросила Саша.

– Чаю пить, – отвѣтила Паша, не поворачиваясь.

Саша опять повертѣлась передъ зеркаломъ, выгибая грудь и рассматривая себя черезъ плечо, но уже ей было тяжело оставаться одной въ наполненномъ пустымъ, холоднымъ свѣтомъ залѣ. Она подошла къ роялю, за которымъ по-прежнему, понурившись, сидѣла Любка. Когда Саша подошла близко, Любка подняла голову и долго смотрѣла на нее. И большіе печальные глаза были недовѣрчивы и растерянны, какъ у со всѣхъ сторонъ затравленнаго звѣря.

– Любка, – машинально позвала Саша.

Она налегла на рояль полной грудью и смотрѣла, какъ въ его черной полированной поверхности отражалась она сама и Любка, съ странными въ густомъ коричневомъ отраженіи темными лицами и плечами.

Любка не отозвалась, а только придавила пальцемъ клавишу рояля. Раздался и растаялъ одинокій и совсѣмъ печальный звукъ.

– А-ахъ! – зѣвнула Саша и стала пальцемъ обводить свое отраженіе. Опять раздался тотъ же упорно печальный плачущій звукъ. Саша вслушалась въ него и съ тоской повела плечами. Любка неувѣренно взяла двѣ-три ноты, точно уронила куда-то двѣ-три хрустальные тяжелыя капли.

– Оставь, – съ тоской сказала Саша.

Но Любка опять придавила ту же ноту, и на этотъ разъ еще тихо и протяжно загудѣла педаль. Саша съ досадой быстро подняла голову и вдругъ увидѣла, что Любка плачетъ: большіе глаза ея были широко раскрыты и совершенно непо-

движны, а по лицу сползали струйки слезъ.

– Во... – удивленно проговорила Саша съ пугливымъ недоумѣніемъ.

Любка молчала, а слезы беззвучно капали и падали ей на голую грудь.

– Чего ты? – спросила Саша, пугливо глядя на медленно ползущія по напудренной кожѣ слезы, и чувствуя, что ей самой давно хочется заплакать и, почему-то боясь этого.

– Перестань, чего-ты?.. Любка, Любочка... – заговорила она и подбородокъ у нея задрожалъ.

– Обидѣлъ тебя кто?.. Да чего... Любка!

Любка тихо пошевелила губами, но Саша не разслышала.

– Что?..А?..

– За... заразилась я... – повторила Любка громче и повалилась головою на рояль.

Что-то мрачное и грозное пронеслось надъ душой Саши. Хотя заражались, и очень часто, другія товарки Саши, и хотя она знала, что это можетъ случиться и съ нею самой, ея здоровое молодое тѣло, сильное и чистое еще, не принимало мысли объ этомъ, и она скользила по ней, не оставляя въ душѣ мучительныхъ бороздъ. И только теперь, когда она въ первый разъ увидѣла такое страшное отчаяніе, только теперь впервые она совершенно сознательно поняла, что это дѣйствительно безобразно, ужасно, что изъ-за этого стоитъ такъ заплакать въ голосъ, закричать и начать биться головой, съ безнадежной пустотой и безсильной злобой въ душѣ. И ей

даже показалось, что именно изъ-за этого ей было такъ тяжело сегодня цѣлый день, такъ страшно, такъ грустно и обидно. И Саша тоже заплакала, сквозь слезы глядя на затуманившееся въ черной поверхности рояля свое отраженіе.

– Чего вы ревете? – спросила подошедшая дѣвушка и стала смѣяться. – Вотъ дуры, стоять другъ противъ дружки и ревать!

– Сама дура! – не съ задоромъ, какъ въ другое-бы время, а тихо и грустно возразила Саша, но все-таки перестала плакать и отошла отъ рояля. Въ душѣ у нея было такое чувство, точно кто-то громадный и беспощадный всталъ передъ нею и страшно яркимъ свѣтомъ освѣтилъ что-то безобразное, несправедливое, непоправимо-ужасное, дѣлающееся съ нею и во всемъ вокругъ.

Когда стали приходиться мужчины, Саша въ первый разъ увидѣла ясно, что имъ нѣтъ никакого дѣла до нея; между собою они пересматривались что-то говорящими глазами, даже иногда обмѣнивались непонятными Сашѣ словами о чемъ-то такомъ, чего не было въ ея жизни, а когда поворачивали глаза къ Сашѣ и другимъ, вдругъ становились точно бездушными, жадными, какъ звѣри, безжалостными и непонимающими... А чаще это были такіе тупые или пьяные люди, что они, видимо, и не понимали того, что дѣлали.

– И всегда-то такъ... – съ ужасомъ захолонуло въ груди Саши.

Пришелъ таперъ и сразу заигралъ что-то очень громкое,

но вовсе не веселое. Дѣвушки, точно выливаясь изъ темной и грязной трубы, выходили изъ темнаго коридора. Музыка становилась все громче и нестройнѣе, и отъ нея преувеличенно наглыхъ звуковъ шумѣло въ головѣ. Стало жарко, душно. Все сильнѣе и сильнѣе пахло распустившимся, потнымъ человѣкомъ, пахло приторными духами, табакомъ, мокрымъ шелкомъ, пылью. Музыка сливалась съ шарканьемъ и топотомъ ногъ, съ крикомъ, съ самыми ненужными гадкими словами, и не было слышно ни мотива, ни словъ, а висѣлъ въ воздухѣ только одинъ отупѣлый озвѣрѣлый гулъ. Въ ухахъ начинало нудно шумѣть и казалось, что весь этотъ переполненный ополоумѣвшими отъ скверной, нездоровой жизни людьми, табакомъ, пивомъ, извращенными желаніями, скверной музыкой домъ – не домъ, а какая-то огромная больная голова, въ которой мучительно шумить и наливаются тяжелая, гнилая, венозная кровь, съ тупой болью бьющая въ напряженные, готовые лопнуть виски.

И Саша противъ воли танцевала и кричала, и ругалась и смѣялась.

– Ску-учно, – сказала она старенькому чиновнику, присосавшемуся къ ней.

– Ну, и дура! – съ равнодушной злостью сказалъ чиновникъ и неудержимо сладострастнымъ шопоткомъ прибавилъ: – пойдемъ что-ли!

Тогда Саша стала жадно пить горькое пиво, проливая его на полъ, на себя, на смятую кровать. Она пила захлебыва-

ясь, а когда напилась, ею овладѣло тупое, больное, равнодушное веселье. Опять она пѣла, ругалась, танцевала и забывала, наконецъ, свое чувство и Любку, такъ что, когда въ коридорѣ началась страшная суматоха, и кто-то пронзительнымъ и тонкимъ голосомъ, съ какимъ-то недоумѣніемъ закричалъ; — «Любка удавилась!» — то Саша не могла даже сразу сообразить, какая такая Любка могла удавиться и зачѣмъ?

Но когда таперь сразу оборвалъ музыку, и нестройно протяжно прогудѣла педаль, Саша вдругъ вспомнила и свой разговоръ съ Любкой, и все, громко ахнула и побѣжала по коридору.

Тамъ уже была полиція, городовые и дворники, запорошенные снѣгомъ, кинувшимся въ глаза Сашѣ, стучавшіе тяжелыми валенками и нанесшіе страннаго въ узкомъ душномъ коридорѣ, бодрящаго, холоднаго чистаго воздуха. На полу былъ натоптанъ и быстро темнѣлъ и таялъ мягкій свѣжій, только что выпавшій снѣгъ. И Сашѣ показалось, будто вся улица вошла въ коридоръ, со всѣми своими закутанными мокрыми людьми, суетой, шумомъ, холодомъ и грязью. Дворники и городовые равнодушно дѣлали какое-то свое дѣло, непонятное Сашѣ, точно работали спокойную и полезную работу, и только толстый усатый околоточный, въ толстой сѣрой, съ торчащими блестящими пуговицами, шинели, въ которую злобно впивались черные ремни шашки, ожесточенно и громко кричалъ и ругался.

Слышно было, какъ «экономка» слезливымъ и хриплымъ

басомъ повторяла:

– Развѣ жъ я тому причиной?.. Какая моя вина?..

Лицо у нея было желтое и совсѣмъ перекошенное отъ недоумѣлой злости и страха.

Саша ткнулась въ отворенную дверь Любкиной комнаты, и хотя ее сейчасъ же съ грубымъ и сквернымъ словомъ равнодушно вытолкнулъ городской, она все-таки успѣла увидать ноги Любки, торчавшія изъ-подъ скомканной и почему-то мокрой простыни. Ноги были босыя, потому что Любка такъ и не одѣлась послѣ приѣма гостя; онѣ неподвижно торчали носками врозь, и странно и жалко было видѣть эти бѣлорозовыя, прекрасныя, съ тонкими, нѣжными и сильными пальцами, ноги неподвижными и ненужными, брошенными на затоптанный, точно заплеванный, полъ.

Саша вылетѣла обратно въ коридоръ, больно проѣхалась плечомъ о стѣну и пошла прочь, машинально потирая рукою ушибленное мѣсто.

И въ эту минуту ей стало противно, обидно, страшно и жалко себя, и захотѣлось уйти куда-нибудь, перестать быть собою, такою, какъ есть.

Въ необычное время потушили огни, гости разошлись и все сразу стало пусто и тихо-тихо. Домъ какъ будто притаился въ зловѣщемъ молчаніи. Дѣвушки боялись итти спать и толпились въ кухнѣ, однѣ одѣтыя, другія растрепанныя, измятая; лица у нихъ у всѣхъ были одинаково искривлены въ тревожныя, слезливыя, точно чего-то ожидающія гримасы.

Дверь въ комнату Любки заперли, и возлѣ нея расположил-ся, почему-то въ шубѣ и шапкѣ, дюжій спокойный дворникъ. Дверь эта была такая же, какъ и всѣ въ домѣ, невысокая, бѣлая, но именно тѣмъ, что произошло за нею, она какъ будто отдѣлилась отъ всѣхъ дверей и даже отъ всего міра и стала какой-то особенной, таинственно-страшной. Дѣвицы то и дѣло бѣгали взглянуть на нее и сейчасъ же со всѣхъ ногъ бѣжали обратно.

Одна дѣвушка, больше другихъ дружившая съ Любкой, сидѣла въ кухнѣ у стола и плакала, и отъ жалости, и оттого, что на нее смотрять со страхомъ и любопытствомъ.

Было страшно и непонятно, точно передъ всѣми встало что-то неразрѣшимо ужасное и печальное.

Пришла экономка, сердитая и желтая, какъ лимонъ. Она съ-размаху сѣла за столъ и стала дрожащими руками наливать и пить, какъ всегда, приготовленное для нея пиво. Губы у нея тоже дрожали, а глаза злобно косились на дѣвушекъ. Она помолчала, наслаждаясь тѣмъ, что всѣ притихли, глядя на нее испуганными и покорными глазами, а потомъ проговорила сквозь зубы:

– Тоже... какъ же... ха!.. Подумаешь!

И въ этихъ словахъ было столько безконечнаго удивленнаго презрѣнія, что даже привыкшимъ къ самой грубой и злой ругани дѣвушкамъ стало не по себѣ, неловко и грустно. И потому особенно стыдно и обидно, что каждая изъ нихъ, ничтожная и загаженная, въ самой глубинѣ души, непонятно

для самой себя, какъ-то гордилась поступкомъ Любки.

И всѣ стали потихоньку и не глядя другъ на друга расходиться.

– Сашенька, – шопотомъ позвала Сашу одна изъ дѣвицъ, Польша Кучерявая.

– Чего?

– Сашенька, душенька... боюсь я одна... возьми къ себѣ... будемъ вмѣстѣ спать...

Она заглядывала Сашѣ въ лицо боязливими, умоляющими глазами и собиралась заплакать.

– И то, пойдемъ... Все не такъ...

Когда онѣ уже лежали рядомъ на постели, имъ было неловко и странно, потому что онѣ давно привыкли лежать только съ мужчинами. Обѣ стыдились своего тѣла и молча старались не дотрагиваться другъ до друга.

Было темно и жутко. Сашѣ, которая лежала съ краю, все казалось, будто что-то черное и холодное съ неодолимой силой ползеть по полу, медленно, медленно. Въ ушахъ у нея звенѣло мелодично и жалобно, а ей казалось, что гдѣ-то тамъ, далеко въ темномъ, какъ могила, пустомъ, холодномъ залѣ падаютъ куда-то и звенять хрустальные и тоскливыя капли рояля. Тамъ сидитъ мертвая и неподвижная, холодная, синяя и страшная Любка, сидитъ за роялемъ и слезы капаютъ на рояль, и мертвые глаза ничего не видятъ передъ собой, но Сашу видятъ оттуда, страшно видятъ, тянутся къ ней. А по полу что-то медленно-медленно подползаетъ.

– Спишь? – не выдержала Саша. – А? – позвала она поспѣшно и прерывисто, не поворачивая головы и зная навѣрное, что рядомъ лежитъ Польшка, и зная, что это вовсе не Польшка... И голосъ ея въ темнотѣ показался ей самой чужимъ и слабымъ.

Польшка шевельнулась. Ея невидимые, мягкіе, курчавые волосы слегка скользнули по щекѣ Саши, но отозвалась она не сразу...

– Нѣтъ, Сашенька, – тихо и жалобно сказала она. И Сашу неудержимо потянуло на этотъ нѣжный и слабый голосъ. Она быстро повернулась и сразу всѣмъ тѣломъ почувствовала другое мягкое и теплое тѣло, но не увидѣла ничего кромѣ все той же, все облившей, изсиня-черной тьмы. И вдругъ двѣ невидимыя худенькія и горячія руки скользнули по ея груди и осторожно боязливо нашли и обняли ея шею.

– Са-ашенька, – тихо прошептала Польшка, – отчего мы такія несчастныя?..

И въ темнотѣ слышались просящія и покорныя всхлипыванія. Волосы ея щекотали шею Саши, слезы тихо мочили грудь и рубашку, а руки судорожно дрожали и цѣплялись.

Саша молчала и не двигалась.

– Лучше бы мы померли, какъ... или лучше, какъ еще маленькія были... Я, когда еще въ гимназіи училась, такъ больна была... воспаленіемъ легкихъ... и все радовалась, что выздоровѣла... и волосы виться стали... Лучше бъ я тогда умерла!..

Саша все молчала, но каждое слово Польки стало отзываться гдѣ-то внутри ея, какъ будто это она сама говорила и плакала.

– Что мы теперь такое? – продолжалъ стонать и жаловаться плачущій въ темнотѣ одинокій голосокъ. – Вонъ Люба повѣсилась, а Зинку въ больницу взяли; говорятъ у нея даже и носъ провалился... хорошенькая, вѣдь, была Зинка... И какъ будто такъ и надо... такъ мы и остались... никто не придетъ и не уведетъ, чтобы и съ нами... не...

– А... чего захотѣла... Ха!.. – вдругъ злобно, задыхаясь и трясясь вся, пробормотала Саша.

– И насъ свезу-уть... Никому до насъ и дѣла нѣтъ... До всѣхъ дѣло есть, всѣхъ людей берегутъ... тамъ, и все... А мы, какъ проклятыя какія... А за что?

– Извѣстно. – сквозь зубы проговорила Саша и отвернулась, хотя и ничего не было видно.

– Я помню, – шептала въ темнотѣ Полька, точно жалуясь не Сашѣ, а кому-то другому, – какая я была въ гимназій... чистенькая... Иду, и всѣ на меня смотрятъ и улыбаются... Мама встрѣтитъ: ну, что, моя дочка?.. Ничего неизвѣстно... – вдругъ порывисто, горячо и тоскливо перебила она себя: – я и не виновата въ этомъ вовсе!

– А кто виноватъ? – спросила Саша тихо и съ какимъ-то трепетнымъ и жалобнымъ ожиданіемъ:

Полька вдругъ дернулась всѣмъ тѣломъ.

– Кто?.. А развѣ я знаю!.. Ничего я не знаю, ничего не

понимаю... А только я, можетъ, теперь дни и ночи плачу... пла-ачу...

И Польша заплакала тоненькимъ, тихимъ и безконечно безсильнымъ плачемъ. Казалось, будто это не человекъ пла-четъ, а муха звенить.

– Жалко мнѣ жалко, Сашенька, – опять зашептала она, захлебываясь слезами, – и себя жалко, и тебя жалко, и Люб-ку... всѣхъ...

Она затихла. Долго было совершенно тихо и какъ-то глу-хо. Потомъ стало слышно, какъ вѣтеръ воетъ въ трубѣ. Такъ, застонетъ тихо, помолчитъ и опять протянетъ долгій тоскли-вый звукъ: у-у-у... какъ будто у него зубы болятъ.

– Я дѣточекъ люблю, – вдругъ тихо и стыдливо сказала Польша, – мнѣ бы дѣтку своего, я бы... Боже мой, какъ бы я его любила!.. Са-ашенька!.. – съ какимъ-то изступленнымъ восторгомъ отчаянія всхлипнула она.

Сашѣ казалось, что ее насквозь пронизываетъ этотъ из-ступленный, тонкій какъ иголка, шопоть, и ей стало невыно-симо. Захотѣлось крикнуть, порвать что-то.

– Мы что тутъ?.. Такъ... пададь одна! Живемъ, пока сгнѣ-мъ... А другіе же живутъ... свѣту радуются... Я въ гимна-зіи все книжки читала... теперь не читаю, забыла... да и что читать!.. А тогда мнѣ казалось, что все это и я переживу... будто у меня въ груди что-то громадное... будто все счастье, какое на землѣ есть, я переживу, все мое будетъ... вся жизнь, и люди всѣ мои, для всѣхъ людей... и... и не могу я этого

выразить... Са-ашенька...

– Какъ быть? – вдругъ спросила Саша сдавленнымъ, глухимъ горловымъ голосомъ.

Полька замолчала такъ неожиданно, что Сашѣ показалось, будто теперь темнота шепчетъ.

– Уйти... бы... – шепнула Полька, и Саша услышала растерянный и робкій голосъ.

Саша вслушалась въ его придавленный звукъ и вдругъ почувствовала себя большой и сильной, въ сравненіи съ худенькой, слабой Полькой, которая могла только плакать и жаловаться. Она даже какъ будто почувствовала всю могучую красоту своего молодого, сильнаго тѣла, двинула руками и ногами и громко заговорила, точно грозя:

– И уйдемъ... что!

Въ комнатѣ уже стало свѣтлѣть; и когда Саша повернула голову, то увидѣла рядомъ неясныя очертанія бѣлаго и маленькаго тѣла и у самаго лица большіе, чуть-чуть блестящіе въ темнотѣ, испуганные глаза.

Полька молчала.

– Ну? – со злобой страха и неувѣренности почти крикнула Саша.

– Куда? – робко и чуть слышно проговорила Полька. – Куда я теперь ужъ пойду?

Будто что-то, на мгновеніе мелькнувшее передъ Сашей, свѣтлое и отрадное померкло и безсильно стало тонуть въ мутной мглѣ! И, хватаясь за что-то, почти физически напря-

гаясь, Саша крикнула въ бѣшенствѣ:

– Тамъ видно будетъ... Хуже не будетъ! Уйти бы только!..

И вскочила обѣими горячими ногами на холодный полъ, ясно, съ леденящимъ ужасомъ чувствуя, что мертвая Любка изъ темной бездонной дыры подъ кроватью сейчасъ схватитъ ее за ноги и потащитъ куда-то въ ужасъ и пустоту. И преодолевая слабость въ ногахъ, Саша босикомъ добѣжала до окна, ударила, распахнула его на темный, какъ бездонный колодезь, дворъ и высунулась далеко наружу, повиснувъ надъ сырой и холодной пустотой. Вѣтеръ рванулъ ее и вздулъ рубашку пузыряемъ, леденя спину. На волосы сейчасъ же сталъ мягко и осторожно откуда-то сверху падать невидимый снѣгъ; вверху и внизу было пусто, сѣро и молчаливо, пахло сыростью и холодомъ. У Саши сдавило въ груди, сжало голову, и судорожно схвативъ горшокъ съ цвѣтами, она со всего размаха, напрягая всѣ силы въ страшной неуголимой злобѣ и ненависти, швырнула его темную пустоту за окномъ. Что-то только метнулось внизъ, и глухой тяжкій ударъ донесся снизу:

– А-ахъ!..

– Уйду... же! – сжавъ зубы, такъ что скуламъ стало больно, прошептала Саша.

На кровати тихо и безсильно закопошилась маленькая Польшка.

– Сашенька... холодно... затвори окно... Что ты тамъ?.. Я боюсь...

III

И цѣлый день потомъ Саша была тиха и молчалива и ясно ощущала въ себѣ присутствіе чего-то новаго, что было ей совершенно непонятно, но такъ хорошо, что даже страшно: было похоже на то, какъ если во снѣ почувствуешь способность летать, но еще не летишь, и хочешь и боишься того прекраснаго и новаго, страшнаго именно своей совершенной новизной, ощущенія, которое должно явиться съ первымъ же взмахомъ крыльевъ. И, несмотря на этотъ страхъ, Саша уже знала, что это будетъ, что это безповоротное.

Весь «домъ», со всѣмъ, что въ немъ двигалось и было, какъ будто отодвинулся отъ нея куда-то внизъ, сталъ чужимъ, и сначала ей даже любопытно было наблюдать его жизнь, точно у нея открылись новые, ясные глаза. Но тутъ-то она и поняла, первый разъ въ жизни, совершенно сознательно, какимъ уродливымъ, противоестественнымъ было все то, что здѣсь дѣлалось: былъ ясный и свѣтлый день, а всѣ спали; всѣ ненавидѣли другъ друга, дрались и бранились самыми скверными словами, а жили вмѣстѣ, вмѣстѣ страдали, вмѣстѣ танцевали; увлекали мужчинъ, выманивали у нихъ деньги, доставляя имъ величайшее удовольствіе, — не для себя и даже не для своихъ хозяевъ, какъ казалось, а такъ, совершенно безцѣльно, потому что никто даже и не спрашивалъ себя о цѣли, и никому не было до того дѣла; отнимали здоровье,

распространяли болѣзнь, хотя никому не желали зла; заражались сами и безобразно погибали, а желали только веселой и счастливой жизни. И когда Сашѣ пришло это въ голову, весь публичный домъ и всѣ люди въ немъ вдругъ, съ потрясающей силой, стали ей противны. Все, и глупые стулья въ залѣ, и рояль, похожій на гробъ, и желтыя лица, и яркія платья, и блѣдно сѣрый полусвѣтъ въ узкихъ комнатахъ съ тусклыми полами, стало возбуждать въ ней почти физическое, нудное, тяжелое чувство.

Полька Кучерявая все вертѣлась возлѣ нея и заглядывала въ глаза, съ нѣмымъ и трусливымъ вопросомъ. Саша хмурилась и отворачивалась отъ нея, боясь, чтобы Полька не спросила, а Полька печально боялась спросить. Наконецъ, Саша ушла отъ всѣхъ въ пустой залъ и опять стала смотрѣть въ то же окно.

Теперь былъ ясный вечеръ, и нападавшій за ночь мягкій, чистый и пухлый снѣгъ лежалъ по краямъ дороги ровнымъ бѣлымъ полотенцемъ, а посрединѣ весь былъ взрыхленъ комочками, легко разлетаясь подъ ногами лошадей, рыжѣлъ и таялъ. Извозчичьи санки быстро и легко скользили и, забѣгая на бокъ, оставляли широкіе и такіе гладкіе, что пріятно было смотрѣть, накаты. Было свѣтло и тихо, а потому спокойно и хорошо. На бѣломъ снѣгу все казалось удивительно отчетливымъ и чистымъ, красивымъ, какъ дорогая игрушка. По противоположной панели прошелъ студентъ, маленькій и бѣлокурый мальчикъ; онъ на кого-то весело смотрѣлъ и весе-

ло улыбался. И хотя Саша не видѣла кому и чему онъ улыба-
ется, но всетаки ей стало такъ же весело и легко. И когда она
смотрѣла на него, въ душѣ у нея явилось, наконецъ, опредѣ-
ленное, необходимое, чтобы не впасть въ отчаяніе и злобу,
глубокое и довѣрчивое чувство: она вспомнила «знакомаго»
студента и радостно подумала, что онъ ей все устроить. И
тотчасъ же ей начало казаться, что все уже, самое главное,
по крайней мѣрѣ, сдѣлано, и она уже какъ бы отдѣлилась отъ
этого дома. Порвалась какая-то тяжелая и дурная связь, и
оттого «домъ» сталъ какъ будто еще темнѣе и пустѣе, а она
сама – свѣтлѣе и легче, точно вся душа ея наполнилась эти-
мъ разлитымъ по снѣгу, по улицамъ, по крышамъ, по бѣлому
небу и людямъ радостнымъ и чистымъ дневнымъ свѣтомъ.

Когда пришелъ вечеръ, ей надо было сдѣлать надъ собой
большое тяжелое усиліе, чтобы хотя съ отвращеніемъ и тоск-
ливымъ недоумѣніемъ дѣлать то же, что и всегда.

Тотъ самый студентъ, красавецъ и силачъ, о которомъ она
думала, пришелъ въ этотъ же вечеръ, веселый и выпившій.
Онъ еще издали увидаль и узналъ Сашу, и такъ какъ она
очень понравилась ему въ прошлый разъ, сейчасъ же подо-
шелъ, спокойно и весело. Но тутъ-то Саша почему-то и за-
робѣла его; это было потому, что она хотѣла просить его,
какъ человѣка, и увидѣла въ немъ человѣка въ первый разъ
съ тѣхъ поръ, какъ была въ этомъ домѣ, и «человѣкъ» казал-
ся ей высшимъ и страшнымъ существомъ, какимъ-то судьей
души. Весь вечеръ она была такой тихой и смущенной, что

онъ даже удивился и сталъ, шутя и смѣясь, звать ее.

И только въ своей комнатѣ Саша, уже раздѣваясь, точно кто-то толкнулъ ее, сразу сказала ему, что хочетъ уйти отсюда.

Студентъ сначала удивился, разсмѣялся и, видимо, не повѣрилъ, но когда Саша растерялась И потихоньку заплакала безсильно обиженнымъ плачемъ, онъ сконфузился и вспомнилъ, что, по его убѣжденіямъ, ему не удивляться, а вѣрить и радоваться надо. Тогда онъ смутился, какъ мальчикъ и хорошимъ, даже какъ-то черезчуръ задушевымъ голосомъ, больше думая, чѣмъ чувствуя, что это хорошо, сказалъ:

– Ну, что жъ... и молодца... Молодецъ Сашка!.. Это мы все живо устроимъ!..

И опять удивился и смутился, потому что хоть и имѣлъ въ этомъ твердыя убѣжденія, но пришелъ къ Сашѣ совсѣмъ не за тѣмъ, и оттого сбился, запутался, по-чувствовалъ что-то пустое и недоумѣлое.

– Такъ, такъ... – пробормоталъ онъ, густо краснѣя, чувствуя себя глупымъ и неловкимъ и изо всѣхъ силъ глядя въ сторону отъ голыи Саши, ложившейся на постель. Потомъ рѣшительно всталъ и сказалъ хрипло и отрывисто:

– Такъ я того... устрою... – и подошелъ къ Сашѣ.

Саша смотрѣла на него наивно довѣрчиво, просительно, но все-таки лежала въ привычной, безстыдно ожидающей позѣ. Студенту стало неловко, скверно, но жгучее желаніе туманило его голову и, весь краснѣя и холодѣя отъ презрѣнія

къ себѣ, онъ раздѣлся и легъ.

— «Ну... что жъ... не переродилась же она... сразу...» — старался онъ успокоить себя, обнимая ее.

Но въ самой глубинѣ его сознанія осталось какое-то тяжелое, неудовлетворенное и обидное чувство...

Съ этого момента жизнь Саши, выбитая изъ той глубокой и прямой колеи, по которой шла безъ всякаго усилія съ ея стороны, точно покрылась какимъ-то хаотическимъ туманомъ, среди котораго, какъ ей казалось, бессильно и безтолково вертѣлась она сама, какъ щепка въ водоворотѣ.

Студентъ, котораго она просила о помощи, оказался такимъ хорошимъ человѣкомъ, что ему недостаточно было только подумать или высказать что-нибудь хорошее, а искренно хотѣлось и сдѣлать. У него было обширное и хорошее знакомство, а потому ему очень скоро удалось устроить Сашу въ пріютъ для «раскаявшихся».

Саша узнала объ этомъ прежде всего изъ его же письма, которое принесъ ей посыльный въ красной шапкѣ. Но письмо сначала прочитала «тетенька». Рано утромъ она ворвалась въ комнату Саши и пронзительнымъ злымъ голосомъ стала кричать и браниться. Ей не было никакого убытка, и на мѣсто Саши было очень легко достать десять такихъ же молодыхъ и хорошенькихъ женщинъ, но «тетенькѣ» казалось, что ей нанесли личную обиду и что Саша неблагодарная тварь.

Она швырнула Сашѣ въ лицо скомканнымъ письмомъ и

стала стремительно хватать всё вѣщи Саши, будто боясь, чтобы она не унесла чего съ собою.

– Чего хватаетесь?.. Не кричите... – пробормотала Саша, вся красная и растерянная.

Въ коридорѣ уже столпились дѣвушки и смѣялись надъ ней, сами не зная почему. И Сашѣ невольное стало казаться, что и вправду это очень стыдно то, что она задумала. Одну минуту она даже хотѣла отказаться отъ всего, но вдругъ нахмурилась, съежилась и озлобилась.

– Не унесу... не бойтесь... ваше вамъ и останется... – только пробормотала она.

– Ладно, ладно! – злобно кричала «тетенька». – Ладно!.. Знаемъ мы васъ!..

Дѣвицы хихикали.

– У, дура! – кричала полная и красная «тетенька». – Подумаешь, тоже... въ честныя захотѣла!.. Да ты видала ли когда, честныя-то какія бываютъ?.. Ахъ, ты!..

Красное бархатное платье, которое Саша только разъ и надѣвала и котораго она такъ давно страстно желала, скомканное полетѣло въ общій узелъ. У Саши навернулись слезы жалости и обиды.

– Да что вы, въ самомъ дѣлѣ – дрожащими губами проговорила она, дѣлая невольное движеніе въ защиту своихъ платьевъ.

Но «тетенька» быстро, точно этого и ждала, загородила ей дорогу, ударила по рукѣ, и когда Саша охнула отъ испуга и

боли, пришла въ восторгъ злости, ударила Сашу еще два раза по щекѣ и потянула за волосы.

– Вотъ тебѣ! – закричала она уже въ рѣшительномъ изступленіи, такъ что крикъ ея былъ слышенъ на подъѣздѣ и пришелъ швейцарь, рябой и равнодушно-злой человекъ.

– Ишь ты... представленіе! – сказалъ онъ.

Саша вспыхнула вся, хотѣла что-то сказать, но вдругъ отвернулась къ стѣнѣ и безсильно заплакала.

– Скоты вы всѣ неблагодарные! – вдругъ сладострастно разнѣживаясь отъ побоевъ и слезъ, плаксиво прокричала «тетенька», потомъ вспомнила Любку, изъ-за которой у нея были большія непріятности съ полиціей, и опять осатанѣла:

– Маешься съ вами, одѣваешь, обуваешь, а вы... Ну, узнаешь ты у меня, какъ собаки живутъ! – стиснула она зубы, такъ что въ глазахъ у нея все завертѣлось.

– Я... т... тебя пррокл...

Саша замерла, поблѣднѣла и такъ и сѣла на полъ, прикрываясь руками.

– Те... тетенька... – успѣла проговорить она. Толстое жирное колѣно тетеньки ударило ее въ лицо, такъ что она стукнулась затылкомъ о подоконникъ, и на голову ея и спину градомъ посыпались удары, отъ которыхъ тупо и больно вздрагивало сердце. Саша только закрывала лицо и стонала.

– Вотъ... – запыхавшись и шатаясь, остановилась «тетенька».

Глаза у нея стали совсѣмъ круглые и дикіе, такъ что даже

странно и страшно было видѣть ея лицо на человѣческомъ тѣлѣ. Она еще долго и скверно ругалась и смотрѣла на Сашу такъ, какъ будто ей было жаль такъ скоро уйти и перестать бить.

– Смотри, придешь опять, я тебѣ это высчитаю! – наконецъ прокричала она и ушла, громко ругаясь и дыша тяжело и возбужденно.

Саша, оглушенная и избитая, встала, машинально поправила волосы и задвигалась по своей комнатѣ, испуганно оглядываясь. Дверь она потихоньку затворила и уже тогда сѣла на кровать и стала плакать, закрывшись руками. Но плакала она не столько отъ боли и отъ обиды, сколько отъ того, что передъ ней вдругъ открылась какая-то неопредѣленная страшная пустота, и ей стало такъ страшно, что она едва не побѣжала просить кого-то, чтобы ея не трогали и оставили тутъ навсегда, какъ была.

Потомъ потянулся долгій и томительный вечеръ.

Въ залѣ, по обыкновенію, весело и громко играла музыка, и Саша знала, что тамъ сейчасъ свѣтло и людно. Ей по привычкѣ хотѣлось туда, но она не смѣла выйти и сидѣла одна въ пустой и полутемной комнатѣ, прислушиваясь къ глухо доносившейся сквозь запертыя двери музыкѣ и говору и смѣху проходившихъ по коридору дѣвушекъ съ ихъ выпившими гостями.

Саша цѣлый день ничего не ѣла и ей было нехорошо. Потомъ она помнила только, что въ комнатѣ отъ свѣчи ходи-

ли большія молчаливыя тѣни, было холодно и какъ-то глухо; а въ черный четырехугольникъ окна опять стучалъ невидимый дождь. Вечеръ ей казался не то что длиннымъ, а какимъ-то неподвижнымъ, точно времени вовсе не было.

И никакихъ мыслей и чувствъ не было въ ней, кромѣ чувства безконечнаго, удручающаго все существо одиночества.

На другой день ей пришлось побывать въ участкѣ, гдѣ тоже было страшно и тоскливо. большія бѣлыя окна смотрѣли какъ мертвыя, столы были черныя, люди грубые и любопытно-злые. И Сашѣ казалось, что эти уже имѣютъ право сдѣлать надъ ней все, что угодно.

Надъ ней смѣялись и даже издѣвались, Кто-то сказалъ:
– Кающаяся!..

И слово это выговорилъ со вкусомъ, сочно и зазвонисто. Саша уже не плакала, потому что ея сознание охватило точно туманъ, въ которомъ она почти уже не понимала, что съ ней дѣлаютъ.

У нея отобрали какую-то подписку, куда-то послали, сначала въ одно, а потомъ въ другое мѣсто, и голодную, усталую, совершенно утратившую человѣческое чувство, доставили въ пріютъ.

IV

Саша не спала почти всю ночь и все думала. Ибо передь ней, маленькой женщиной съ маленькимъ и слабымъ умомъ, всталъ какой-то громадный и неразрѣшимый вопросъ.

Было темно и тихо. Свѣтъ отъ уличныхъ фонарей падалъ черезъ окна на потолокъ и неясно ходилъ тамъ, вспыхивалъ и темнѣлъ. Съ улицы слабо, больше по дрожанію пола, доносилось рѣдкое дребезжаніе извозчичьихъ дрожекъ по оттаявшей къ ночи мостовой. Была сильная мокрая оттепель и слышно было, какъ за окномъ падали на желѣзный карнизъ крупныя тяжелыя капли. Всѣ спали и на всѣхъ кроватяхъ смутно чернѣли неопредѣленные темныя бугры, прикрытыя такими же твердыми, съ деревянными складками, одѣялами.

Саша блестящими глазами изъ-подъ уголка одѣяла какъ мышь, оглядывала комнату и чутко прислушивалась ко всякому звуку, и къ паденію грустныхъ капель за окномъ, и къ скрипу дальней кровати, и къ тяжелому долгому дыханію, и къ непрестанному хриплому храпу, откуда-то изъ темноты разносившемуся по комнатѣ.

Сашѣ было странно, что все такъ тихо и спокойно, что не шумятъ, не танцуютъ, не дерутся, не пьютъ, не курятъ и не мучають. И вдругъ какое-то теплое, легкое и радостное чувство охватило ее всю, такъ что Саша даже вздрогнула и порывисто уткнулась лицомъ въ жидкую подушку, на которой

наволочка лежала грубыми складками.

Саша только теперь поняла, что прежняя жизнь кончена. Что уже никогда не будут ее заставлять ласкать пьяныхъ и противныхъ мужчинъ. Не будутъ бить, ругать, что весь этотъ чадъ ушелъ и не повторится. А впереди, точно восходящее въ тихомъ радостномъ сіяніи солнце, стало свѣтить что-то новое, грядущее, радостное, чистое и счастливое. И уже отъ одного сознанія его Сашѣ показалось, что она сама стала легче, чище, свѣтлѣе. Что-то сладкое дагнуло Сашу за горло, и горячія тихія слезы сразу наполнили ея глаза и смочили возлѣ щекъ нагрѣвшуюся, пахнущую мыломъ подушку.

«Господи, Господи... дай, чтобы ужъ больше... чтобы стать мнѣ такой... какъ всѣ... дай, Господи, дай!..» – съ напряженнымъ и рвущимся изъ груди чувствомъ непонятнаго ей восторга и умиленія, почти вслухъ прошептала Саша.

Было что-то жалкое и слабое въ этой молитвѣ и странно было, что такъ молилась здоровая, красивая, горѣвшая отъ силы жизни женщина.

Саша хотѣла вспомнить всѣ обиды, Польку, «тетеньку», Любку, но мысленно отмахнулась рукой.

«Богъ съ ними!.. Было и прошло... и быльемъ поросло! Теперь ужъ все, все будетъ совсѣмъ по новому... Буду жъ и я, значить, человѣкомъ, какъ всѣ... тогда ужъ никто не крикнетъ... какъ тотъ усатый въ участкѣ. Господи, Господи... Создатель мой!.. До чего жъ хорошо это я надумала... Будто ужъ и не я вовсе... Знакомые у меня теперь будутъ насто-

ящіе... Сама буду въ гости ходить... работать буду такъ... чтобы ужъ никто-никто и не подумаль»...

Какъ-то незамѣтно для самой Саши всплылъ передъ нею образъ того студента, который устроилъ ее въ пріютъ.

«Красавецъ мой милый!» – безсознательно, съ безконечной нѣжностью и благоговѣніемъ прошептала Саша, и уже когда прошептала, тогда замѣтила это.

Ей было привычно, ничего не чувствуя, называть всѣхъ, бывшихъ у нея, мужчинъ ласкательными словами, но теперь ей стало стыдно, что она подумала такъ о немъ. Но такъ хорошо стыдно, что слезы легко опять набѣжали на блестящіе широко раскрытые на встрѣчу слабому свѣту изъ оконъ, глаза. Саша тихо и радостно улыбнулась себѣ.

«Миленькій, золотой мой», – съ невыразимымъ влекущимъ чувствомъ, прижимаясь къ подушкѣ, стала подбирать всѣ извѣстныя ей нѣжности Саши. И все ей казалось мало, и хотѣлось придумать еще что-то, самое ужъ нѣжное, хорошее и жалкое.

«Спаситель вы мой!» – почему-то на «вы» вдругъ придумала Саша, и именно это показалось ей такъ хорошо, нѣжно и жалко, что она заплакала.

«Чего жъ я плачу?» – спрашивала она себя, но крупныя и теплыя слезы легко, сладко струились по ея щекамъ и расплывались по подушкѣ.

Твердое одѣяло сползало съ ея разгорѣвшагося тѣла и подушка смялась въ совсѣмъ крошечный комочекъ, на которо-

мъ было твердо и неудобно лежать.

«Какія тутъ постели скверныя», – машинально подумала Саша, не переставая улыбаться сквозь слезы своимъ другимъ мыслямъ.

И тутъ только Саша въ первый разъ совершенно ясно вспомнила и поняла, почему именно она ушла изъ дома терпимости. Она припомнила, какъ ей было тяжело и грустно еще до смерти Любки, какъ все было ей противно и грустно.

«Что Любка бѣдная, царствіе ей небесное, повѣсилась, только, значить, меня на мысль натолкнуло... и Полька Кучерявая тоже... Полечка Кучерявенькая!» – ласково жалѣючи вспомнила Саша: – «надо и ее оттуда вытащить, она, глупенькая, сама и не додумается какъ... а и додумается, такъ побоится!.. Слабенькая она» ...

Вдругъ въ комнатѣ стало совсѣмъ темно. Саша подняла голову, но сразу ничего не увидала, кромѣ изсиня-чернаго мрака. Изъ темныхъ оконъ уже не падалъ на потолокъ свѣтъ, а стекла только чуть-чуть сѣрѣли въ темнотѣ.

«Фонари тушатъ... поздно...» – подумала Саша.

И, закрывъ глаза, стала опять вспоминать, почему «это» вышло, и когда все началось, и почему именно студенту сказала она объ этомъ. Съ самага начала ей было противно, грустно и трудно привыкнуть къ такой жизни; и пошла она на это только отъ тяжелой, голодной и безрадостной жизни. Она всегда считала себя, и дѣйствительно была, очень красивой и больше всего въ мірѣ ей хотѣлось, чтобы въ нее влю-

бился какой-то невѣроятный красавецъ и чтобы у нея было много прекрасныхъ костюмовъ.

«Иная рожа рожей, а одѣнется, такъ глаза слѣпнуть... а ты, тутъ, идешь, по грязи подоломъ шлепаешь... на башмакахъ каблуки съѣхали, подоль задрипанный, кофточка старая, мѣшкомъ сидить... красавица!.. Такъ мнѣ обидно было... Тогда около ресторана... гусарь даму высаживалъ, а я заглядѣлась и даму толкнула, а онъ меня какъ толкнетъ!.. Посмотрѣла я на нее: старючая да сквернючая... и такъ мнѣ горько стало... А тутъ „тетенька“ обхаживать начала... я ей сдуру все про гусара и какъ мнѣ обидно, рассказала... а она такъ и зудить, такъ и зудить, что будутъ и гусары, и все... и что красавица я первая, и что мнѣ работать, гнуться да слѣпнуть – глупость одна... съ какой радости?.. А я себѣ и думаю: „и вправду глупость одна... съ какой радости?..“»

Потомъ она вспомнила то ужасное, безпросвѣтное, невѣроятное, точно въ кошмарѣ, грязное пятно, которымъ представлялся ей долго послѣ первый день, когда она протрезвилась.

«А вѣдь я тогда тоже удавиться хотѣла!» – съ холоднымъ ужасомъ вспомнила Саша и сразу широко открыла глаза, точно ее толкнулъ кто. Ей почудилось, что тутъ возлѣ кровати стоитъ неподвижная, мертвая, длинная-длинная Любка.

А все было тихо, слышалось ровное дыханіе спящихъ и стало будто свѣтлѣе. Опять были видны темные бугорки на кроватяхъ и мало-по-малу становилось все сѣро, блѣдно и

как-то прозрачно. Попрежнему храпѣль кто-то, томитель-но и нудно, а за окномъ капали на подоконникъ одинокія тя-желыя капли.

«Такъ и хотѣла... Помню, напилась здорово... думала, какъ напьюсь, легче будетъ, не такъ страшно... и крючокъ при-колотила... А за мной, значить, слѣдили... за всѣми первое время слѣдятъ... „Тетенька“ меня тутъ и избила... чуть не убила!.. А потомъ и ничего... скучно стало...».

Саша припомнила, не понимая, что потомъ нашла на нее глубокая, тяжелая апатія, и когда прошла, то унесла съ собой всякую нравственную силу и стыдъ, не было уже ни силы, ни желанія бороться. Потомъ было пьянство, развратъ, шумъ и чадъ, и она привыкла къ этой жизни. Но все-таки Саша помнила очень хорошо, что совсѣмъ весело и спокойно ей никогда не было, а все время, что бы она ни дѣлала, гдѣ-то въ самой глубинѣ души, куда она сама не умѣла заглядывать, оставалось что-то ноющее, тоскливое, что и заставляло ее такъ много пить, курить, задирать другихъ и развратничать.

«А почему ему... почему ему сказала?.. Да по-тому, что онъ меня и взбередилъ тогда... слова эти сказалъ, милый мой красавчикъ!..».

И опять Саша придумывала нѣжныя слова и припоминала весь тотъ вечеръ, когда этотъ студентъ былъ у нихъ въ пер-вый разъ, пьяный, веселый, и очень ей понравился, смѣялся, пѣлъ, а Сашѣ сказалъ:

– Цѣны тебѣ, Сашка, нѣтъ!.. Ты – красавица! Прямо кра-

савица! Кабы ты не была дѣвкой, я бы на тебѣ женился! Ей-Богу, женился бы, потому что ты лучше всѣхъ женщинъ, какихъ я знаю... И зачѣмъ ты, Сашка, въ дѣвки пошла?

Саша смѣялась и вылила на него полстакана пива, но онъ не разсердился, а вдругъ загрустилъ пьяной, слезливой грустью.

– И неужели ты не понимаешь, что ты надъ собой сдѣлала... а? Сашка! – горестно покачивалъ онъ красивой взломаченной головой, залитой пивомъ.

И сразу напомнилъ ей этими «жалкими» словами все, что она вынесла. И тутъ все точно поднялось въ ней, дагнуло за сердце, рѣзнуло. Саша стала неудержимо плакать, отталкивать студента отъ себя, биться головой. Было это и потому, что она была пьяна, и потому, что она поняла, что сдѣлала надъ собой что-то ужасное и непоправимое, какъ ей тогда казалось.

«Всю ночь тогда проревѣла», задумчиво и тихо подумала Саша, глядя въ посѣрѣвшія окна, печально и неподвижно смотрѣвшія въ большую, холодную и скучную комнату.

«Съ того и началось... это самое... затосковала я тогда на смерть!».

V

Слѣдующій день былъ пріемнымъ днемъ во всѣхъ больницахъ, и почему-то его сдѣлали пріемнымъ и въ пріютѣ.

Небо посвѣтлѣло, солнце ярко свѣтило въ окна, такъ что, казалось, будто на дворѣ радостная весна, а не гнилая осень. Было такъ много свѣта, что даже на угрюмые мутно-зеленые столы и табуреты было пріятно и легко смотрѣть. Чай пили въ общей комнатѣ, пили чинно и молча, потому что боялись надзирательницы, у которой было много испорченной желчи.

Но Сашѣ казалось, что такъ тихо и чинно вовсе не потому, а оттого, что здѣсь, въ этой совершенно иной жизни, такъ и должно быть: свѣтло, тихо и чинно. И все это ужасно нравилось Сашѣ, даже возбуждало въ ней чувство восторженнаго умиленія. Глаза у нея поминутно дѣлались влажными и тихо блестяли.

«Господи, какъ хорошо-то...»

А когда Саша вспомнила тѣ радостныя и свѣтлыя думы, которыя передумала она въ эту «великую» (именно такъ, какъ называла она всегда ночь подъ свѣтлое Христово Воскресеніе, Саша назвала себѣ первую ночь, проведенную въ пріютѣ), ей стало такъ радостно, что она начала тихо и широко улыбаться навстрѣчу полному золотой пыли солнечному лучу, падавшему черезъ всю комнату блестящей полосой.

Но въ ту же минуту она поймала на себѣ пристальный и колючій взглядъ надзирательницы, вдругъ загадочно прищурившейся, и смутилась такъ, что даже испугалась. Густой румянецъ сталъ разбѣгаться по ея молодому и еще совсѣмъ свѣжему лицу.

«Чего обрадовалась?» – съ грустью, откуда-то вынырнувшей незамѣтно для нея самой, подумала Саша, стараясь не глядѣть по сторонамъ. – «Ужъ и забыла... подумаешь!.. Такъ тебѣ и смѣяться... сидѣла бы, коли ужъ Богъ убилъ».

И какъ будто въ столовой стало темнѣй, скучно и глухо, и золотой столбъ пыли куда-то пропаль.

«Исправляющіяся! – съ ироніей думала надзирательница, машинально помѣшивая ложечкой жидкій простывшій чай и не спуская съ Саши злого и презрительнаго взгляда. – Мысли-то ихъ въ комитетъ бы представить!.. У, дурачье! – подумала она о комитетскихъ дамахъ. – Да этихъ потаскухъ хлѣбомъ не корми... Развѣ могутъ онѣ не то что оцѣнить, а хотя бы понять смыслъ этихъ заботъ о нихъ общества?» – вдругъ поджавъ губы, мысленно произнесла она гдѣ-то слышанную, очень ей понравившуюся и не совсѣмъ ясно понимаемую фразу.

И потомъ ей почему-то страстно захотѣлось схватить Сашу за косу и дернуть по полу такъ, чтобы въ пальцахъ клочки волосъ остались.

– Тварь подлая... не спасать тебя, а въ острогъ сгноить!..
Послѣ чаю всѣ сразу заторопились и, еле сдерживаясь,

чтобы не побѣжать, разошлись по комнатамъ, стали шушукаться и хлопотать.

Саша сидѣла возлѣ своей кровати, къ жесткому коричневому цвѣту и мертвымъ прямымъ складкамъ которой она все не могла привыкнуть, и смотрѣла съ удивленіемъ и любопытствомъ, какъ прихорашивались ея товарки. На нихъ оставались тѣ же странныя неуклюжія платья, но всѣ какъ-то подтянулись: таліи стали тоньше, платья опрятнѣе застегнулись. Блондинка съ красивымъ голосомъ взбила чубъ и стала прелесть какой хорошенькой, а женщина съ животомъ украсила свои безцвѣтные жидкіе волосы голубой ленточкой. И эта ленточка наивно и робко, не въ тактъ ея движеніямъ, болталась у нея на головѣ.

– Вовсе не хорошо! – мелькнуло въ головѣ у Саши.

Блондинка улыбнулась, поймавъ ея взглядъ на голубую ленточку.

Саша отвѣтила радостной улыбкой.

– Какая вы хорошенькая! – съ искреннимъ восторгомъ сказала она.

– Правда? – короткимъ горловымъ смѣшкомъ возразила блондинка.

– Ей-Богу! – улыбнулась Саша. – Только платье бы вамъ другое... и совсѣмъ бы красавицей стали... У меня одно было, красное, и вотъ тутъ...

Саша подняла руку, чтобы показать, но вдругъ вспомнила, разомъ замолчала и, растерянно мигая, потупилась.

«Развѣ можно про это вспоминать?» – укорила она себя, съ усиліемъ подавляя въ себѣ жалость о красномъ платьѣ и желаніе рассказать о немъ.

Блондинка не поняла Сашу и хотѣла переспросить, но въ это время дверь отворилась, надзирательница на мгновеніе всунула желтую голову въ комнату и отрывисто выкрикнула, точно скрипнула дверью:

– Польшова... къ вамъ...

Польшовой оказалась женщина съ большимъ животомъ. Должно быть, она, хотъ и нацѣпила ленточку, никакъ не ожидала, что къ ней придуть. Она сильно и болѣзненно вздрогнула и какъ-то вся безтолково засуетилась, хватая руками и обдергивая ленточку и платье. Ея невыразительное длинное лицо поблѣднѣло, а тусклые голубенькіе глазки выразили-таки растерянность и жалкій испугъ.

– Ну? – крикнула надзирательница, и голова ея выскользнула.

Польшова, путаясь и торопясь, ушла за нею, все съ тѣмъ же испуганнымъ лицомъ, и Сашѣ показалось, будто она перекрестилась на ходу, быстрымъ и мелкимъ движеніемъ.

– Пришель-таки, – съ выраженіемъ и сочувствія и насмѣшки, сказала блондинка.

Рябая отозвалась равнодушнымъ басомъ:

– Все одинъ чортъ... Не женится онъ... охота ему!.. А она – дура!

Туть только Саша замѣтила, что одна эта рябая и не ду-

мала прихорашиваться, а неподвижно сидѣла на своей кровати, придавивъ ее какимъ-то странно-тяжелымъ тѣломъ.

Опять отворилась дверь и опять скрипнула сухой голосъ:
– Иванова.

Блондинка встала и засмѣялась.

– Вы чего радуетесь? – сухо и недовѣрчиво спросила наблюдательница.

Ее всегда злило и даже оскорбляло, когда эти женщины, которыхъ она считала неизмѣримо ниже себя и недостойными даже дышать вольно на свѣтѣ, радовались или хоть оживлялись.

Но блондинка, не отвѣчая и все смѣясь, поправила на себѣ волосы и пошла изъ комнаты.

Потомъ вызвали Сюртукову, ту самую толстую и дурно-рожую женщину, которая ночью храпѣла, и Кохъ, блѣдную тощую дѣвушку съ бородавкой на длинной шеѣ. Онѣ ушли, и въ комнатѣ стало совсѣмъ пусто и тихо. Воздухъ былъ чистый, и всякій звукъ раздавался черезчуръ отчетливо и дробно, еще больше усиливая тишину и пустоту.

Рябая неподвижно сидѣла спиной къ Сашѣ, и по ея широкой обтянутой толстой спинѣ нельзя было догадаться, дремлетъ она или смотреть въ окно...

Саша почему-то стѣснялась двигаться и тоже сидѣла тихо. Было что-то странное и тоскливое въ этой неподвижности и тишинѣ двухъ живыхъ людей, въ этой свѣтлой и чистой комнатѣ. И Саша начала томиться неопредѣленнымъ тяжелымъ

чувствомъ.

Она стала припоминать то, что думала ночью, но оно не припоминалось, вставало блѣдно и безсильно. Саша старалась уже насильно заставить себя испытывать то радостное и свѣтлое чувство, которое такъ легко и всесильно охватывало ея душу, притаившуюся въ темнотѣ подъ жесткимъ темнымъ одѣяломъ. Но вокругъ было свѣтло блѣднымъ, ровнымъ свѣтомъ и пусто молчаливой пустотой, и въ душѣ Саши было такъ же блѣдно и пусто. Саша поправилась на кровати, сложила руки на колѣняхъ, потомъ стала крутить волосокъ, потомъ тихо и осторожно зѣвнула, и ей становилось все тяжелѣй и скучнѣй.

Рябая зашевелилась и не поворачиваясь спросила:

– А къ тебѣ придуть?

Голосъ ея раздался сипло и глухо. Саша вздрогнула и поспѣшно отвѣтила:

– Не знаю... – и удивилась.

«Кто ко мнѣ придетъ?» – вдругъ съ тихой жалобной грустью подумала она, и какъ-то ярко и мило ей вспомнились Польшка Кучерявая, рыжая Паша и другія знакомыя лица. Она вздохнула.

Рябая что-то тихо сказала.

– Чего? – робко переспросила Саша.

– Ко мнѣ-то притти некому... я знаю, – повторила рябая съ страннымъ выраженіемъ не то злобы, не то насмѣшки.

Саша, широко и жалобно раскрывъ глаза, смотрѣла въ ея

широкую спину и не знала что сказать.

– У васъ родныхъ нѣтъ... значить? – неуверенно пробор-мотала она.

Рябая помолчала.

– Какъ нѣтъ... сколько угодно... Купцы, богатые, родные братья и сестры есть...

– Почему жъ они?..

– Потому...

Рябая оторвала это со злостью и замолчала.

А тутъ дверь опять скрипнула, и когда Саша быстро обернулась, желтая голова смотрѣла прямо на нее. Что-то въ родѣ какой-то смутной, совсѣмъ неопредѣленной, но радужно радостной надежды вздрогнуло въ груди Саши.

– Козодоева... къ вамъ... – проговорила надзирательница.

Саша даже вскочила и сердце у нея забилося. Но ей сейчасъ же представилось, что это ошибка.

– Ко мнѣ? – срывающимся голосомъ переспросила она, странно улыбаясь.

Передъ нею промелькнули всѣ знакомыя лица изъ публичнаго дома.

– Да ужъ къ вамъ, – неопредѣленно возразила надзирательница и не ушла, какъ прежде, а ждала въ дверяхъ, пока Саша пройдетъ мимо нея.

Лицо у нея было такое, точно она Сашу увидала въ первый разъ и чему-то удивлялась и не довѣряла. А Сашѣ, во все время, пока она шла по корридору, казалось, что вотъ-вотъ

она сейчас крикнет ей: «Куда?.. А ты и вправду думала, что къ тебѣ пришли?.. Брысь на мѣсто».

Но надзирательница шла сзади молча, сильно постукивая задками туфель.

Совсѣмъ ужъ робко и нерѣшительно Саша, вошла въ отворенную дверь пріемной и въ первую секунду ничего не могла разобрать, кромѣ того, что въ пріемной три окна, стоятъ черныя стулья, блеститъ полъ и въ комнатѣ много людей.

Но сейчасъ же ей кинулся въ глаза студенческой мундиръ и знакомое лицо. Будто ее качнуло куда-то, все смѣшалось въ глазахъ, вздрогнуло и мгновенно разбѣжалось, оставивъ во всемъ мірѣ одно, слегка красное, чудно-красивое и безконечно милое, улыбающееся лицо надъ твердымъ синимъ воротникомъ.

Студентъ неестественно улыбался и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ ей навстрѣчу.

– Здравствуй... те, – сказала онъ нерѣшительно. Саша хотѣла отвѣтить, но задохнулась – и только, и то какъ сквозь туманъ, поняла, что онъ протягиваетъ ей руку. Неумѣло и растерянно она подала свою, и ей показалось, будто она пролежала себѣ руку, такъ неловко и трудно было ей.

– Ну, что жъ... сядемте... – опять сказала студентъ и первый отошелъ въ уголь и сѣлъ.

Саша поспѣшно сѣла рядомъ съ нимъ, но какъ-то бокомъ. Ей было неудобно, а скоро стало даже больно, но она не замѣчала этого.

Всѣ смотрѣли на нее и на студента съ любопытствомъ и недоумѣніемъ, потому что къ пріюткамъ, бывшимъ проституткамъ, никогда не приходили такіе люди. Одна блондинка Иванова улыбалась и щурила глаза на красиваго студента.

Студентъ, смущенно и изъ всѣхъ силъ стараясь не показать этого, смотрѣлъ на Сашу и не зналъ съ чего начать, у него даже мелькнула мысль:

«Чего ради я пришелъ?..»

Но сейчасъ же онъ вспомнилъ, что дѣлаетъ благородное, хорошее дѣло и ободрился. Даже привычно-самоувѣренное выраженіе появилось на его лицѣ.

– Ну, вотъ вы и на новомъ пути!.. – слишкомъ витіевато началъ онъ, почти безсознательно всѣмъ, и голосомъ, и складомъ фразы, и слегка насмѣшливымъ и снисходительнымъ лицомъ, подчеркивая для всѣхъ, что онъ, собственно, ничего не имѣетъ и не можетъ имѣть общаго съ этой женщиной, а то, что онъ пришелъ сюда, есть лишь капризь его, безконечно чуждаго всякихъ предразсудковъ «я». И ему все казалось, что это недостаточно понятно всѣмъ, и хотѣлось доказать это.

Саша въ некрасивомъ странномъ платьѣ, не завитая и не подрисованная, казалась ему незнакомой и гораздо хуже лицомъ и фигурой.

– Да, – сказала Саша такимъ голосомъ какъ будто у нея во рту была какая-то вязкая тяжелая масса.

– Ну... это очень хорошо, – еще громче и еще снисходи-

тельнѣе сказала студентъ, разглядывая Сашу, и почувствовала, что ему какъ будто жаль, что Саша такъ погрубѣла и подурнѣла.

«А впрочемъ, она и сейчасъ хорошенькая», – утѣшающе подумалъ онъ и, поймавъ себя на этой мысли, съ болью разсердился: – «какой, однако, я подлець!»

Эта мысль была не искренна, потому что онъ глубже всего на свѣтѣ былъ увѣренъ, что онъ не подлець, но все-таки и ея было достаточно, чтобы онъ сталъ проще и добрѣе.

– Если вамъ что-нибудь понадобится, вы скажите, – заторопился онъ, – то-есть напишите... потому что я, можетъ быть... не скоро... или тамъ... я вамъ дамъ адресъ... на всякій случай... вотъ...

Онъ торопливо досталъ очень знакомый Сашѣ кошелекъ и досталъ изъ него карточку.

Саша робко взяла ее и держала въ рукѣ, не зная, куда ее дѣтъ и что говорить.

– Спасибо... – пробормотала она.

«Дмитрій Николаевичъ Рославлевъ», – прочла она машинально одними глазами.

И вдругъ, точно кто-то ударилъ ее по головѣ, Саша съ ужасомъ подумала:

«Что жъ я... вѣдь онъ сейчасъ уйдетъ!»

И, торопясь и путаясь, заговорила:

– Я вамъ очень, очень благодарна... потому какъ вы меня... изъ такой жизни...

– Ну, да, да... – заторопился студентъ, весь вспыхивая, но уже отъ хорошаго чувства, пріятнаго и просто-гордаго. – Вы повѣрьте... что я вамъ искренно желалъ добра и... желаю, и всегда готовъ...

«Что собственно готовъ?» – подумаль онъ, и противъ его воли вдругъ такой отвѣтъ пришелъ ему въ голову, юмористическій и циничный, что ему стало стыдно и гадко.

«Нѣтъ, я ужасный подлець!» – съ искреннимъ отчаяніемъ, но еле-еле удерживаясь отъ невольной улыбки, подумаль онъ, и это чувство было такъ мучительно, что онъ, самъ не замѣчая того, всталъ.

Саша тоже встала торопливо, и лицо у нея было убито и жалко.

«Уйдетъ, уйдетъ... дура... Господи!» – съ тоской пронеслось у нея въ головѣ.

Она всѣмъ существомъ своимъ чувствовала, что надо что-то сказать, что-то необычайное, и совершенно не знала, что.

Но въ эту минуту ей казалось, что если она не скажетъ этого и онъ уйдетъ, то тогда ужъ все куда-то исчезнетъ, будетъ что-то пустое и мертвенно-холодное.

– Такъ вы если что-нибудь... тамъ подробный адресъ, – бормоталь студентъ и протягиваль руку, какъ-то слишкомъ высоко для Саши.

Саша дотронулась до его руки холодными пальцами и еле перехватила желаніе схватить эту руку обѣими руками и изо всей силы прижаться къ ней.

– До свиданья, – проговорилъ студентъ.

– Прощайте, – отвѣтила Саша и спохватилась: – до свиданья...

И поблѣднѣла.

Студентъ нерѣшительно, оглядываясь на нее, пошелъ изъ комнаты.

Саша пошла за нимъ. Они вышли въ коридоръ и на лѣстницу.

– Такъ вы... – началъ студентъ и замолчалъ, замѣтивъ, что повторяетъ одно и то же.

Вдругъ Саша схватила его за руку и, прежде чѣмъ онъ успѣлъ сообразить, прижала къ губамъ, опустила немного и опять, крѣпко прижавшись мягкими влажными губами, поцѣловала.

– Что вы! – вспыхнулъ студентъ.

Это было новое, стыдное и пріятное ощущеніе.

– Козодоева! Вы куда? – крикнула сверху надзирательница. – Этого нельзя!

Отъ негодованія у нея вышло: «нелса!»

– Я... еще приду... непременно приду! – весь красный и растерянный, почему-то ужасно боясь надзирательницы, торопливо пробормоталъ студентъ, сильно пожимая руку Саши.

Саша молчала и глядѣла на него бессмысленно-блаженными мокрыми глазами.

– Ступайте назадъ! – крикнула надзирательница.

Когда студентъ шель по улицѣ, у него было какое-то странное чувство, будто онъ сдѣлалъ не то, что было нужно, и въ душѣ у него была чуть-чуть тоскливая тревожная пустота; то же самое чувство, которое было у Саши, когда она отошла отъ Любки, плакавшей за роялемъ. Но у него это чувство было мучительнѣе и сознательнѣе.

«Но вѣдь я же поступилъ съ нею хорошо... вообще... и никто, — съ удовольствіемъ подумалъ онъ, — изъ моихъ... знакомыхъ не сдѣлалъ бы этого!»

И это соображеніе, бывшее искреннимъ и увѣреннымъ, обрадовало и успокоило его.

VI

Какъ у громаднаго большинства мужчинъ любовь начинается съ физическаго влеченія, такъ у женщинъ она проявляется идеализаціей достоинства мужчины. И чѣмъ женщина болѣе угнетена и обижена нравственно, тѣмъ больше склонна она къ идеализаціи и любви. Если женщины дурного поведенія рѣдко любятъ искренно, то это только оттого, что мужчины подходятъ къ нимъ такъ, что не остается мѣста ни для какого чувства, кромѣ самага грубаго ощущенія. И у тѣхъ изъ нихъ, которымъ не пришлось любить до своего паденія, именно послѣ него способность къ идеализаціи и любви вырастаетъ въ болѣе чистомъ и сильномъ видѣ, чѣмъ у такъ называемыхъ порядочныхъ женщинъ, ожидающихъ себѣ мужа постоянно и постоянно треплющихъ свою душу въ попыткахъ любить.

Какъ только студентъ принялъ живое, человѣческое участіе въ Сашѣ – такое, какого ей недоставало въ жизни, такъ сейчасъ же забытая потребность любви вспыхнула въ ней съ захватывающей силой и вылилась въ безконечно-покорное обожаніе этого человѣка, какъ самага лучшаго въ мірѣ. Все въ немъ, отъ голоса, прически, мундира до смысла словъ и поступковъ, казалось Сашѣ невыразимо прекраснымъ, благороднымъ и вызывало въ ней сладкій, умиленный, всю душу вытягивающій восторгъ...

Въ пріємную она вошла, шатаясь, какъ пьяная все съ тѣмъ же бессмысленно-блаженнымъ лицомъ почти не слыша, что выговариваетъ ей надзирательница.

– Это чортъ знаетъ что такое! Вы, кажется воображаете, что васъ взяли сюда исключительно для вашего удовольствія? Для своихъ любвей можно было и не покидать... вашего прелестнаго института! – со злобой и насмѣшкой кричала надзирательница.

Въ пріємной попрежнему было много людей они опять мелькнули, какъ-то не полавъ въ сознаніе Саши, но когда она уже была въ дверяхъ раздался такой дикій крикъ, что Саша остановилась какъ вкопанная.

Все поднялось и засуетилось.

– Подлецъ ты! Подлецъ! – истерически кричала худая и блѣдная, съ отвисшимъ толстымъ животомъ Полюнова.

Ея жидкіе волосики водянистаго цвѣта растрепались, голубая ленточка свалилась на лобъ, а лицо пошло красными пятнами. Въ рѣшительномъ изступленіи, она всѣмъ тѣломъ кидалась на приземистаго мужчину въ черномъ сюртукѣ и все вытягивала длинные крючковатые пальцы къ черноватому лицу съ бѣгающими бойкими глазами. Мужчина въ сюртукѣ слегка отстранялъ локтемъ, вовсе не смущался, хотя и притворялся смущеннымъ, и даже какъ будто былъ радъ скандалу.

– Полегче, полегче-съ... потише, Авдотья Степановна! Помилуйте-съ... здѣсь не полагается! – насмѣшливымъ го-

воркомъ произносилъ онъ, отступая къ двери.

– Извергъ!

– Что? Что у васъ такое? Это что за безобразіе? Полынова! Какъ вы... молчать!.. – кидаясь къ нимъ, закричала надзирательница.

– Не могу я молчать! – отчаянно завопила Полынова. – Онъ... онъ меня погубилъ, проклятый! Онъ мнѣ самъ говорилъ: «брось эту жизнь, я тебя обзаконю...» деньги взял!

– Какія деньги? – вскинулась надзирательница.

Вокругъ стѣснилась толпа, многіе даже на стулья повставали, чтобы лучше видѣть.

Мѣщанинъ въ сюртукѣ немного смутился, носъ у него покраснѣлъ, забѣгали низомъ.

– Это такъ можно все говорить! – пробормоталъ онъ, оглядываясь кругомъ исподлобья.

– Какія деньги?.. Мои!.. кровные триста рублей! Какъ одна копеечка... – хлюпающимъ голосомъ и все нелѣпо шевеля пальцами передъ лицомъ мѣщанина, точно желая вцѣпиться ему въ бороду, которая была скверно выбрита, вопила Полынова.

– Онъ взялъ у васъ триста рублей? Когда?

Въ толпѣ слышались и смѣющіеся и негодующіе голоса.

– Онъ, проклятый... жениться обѣщаль... съ тѣмъ и деньги взял! Ты, говоритъ, въ исправительное, чтобы скверну... скверну очистить... а я на эти деньги торговлю... а опосля... Обмануль! – вдругъ пронзительно закричала Полынова и ка-

къ-то сразу, всплеснувъ руками, какъ мѣшокъ, осѣлъ на полъ къ ногамъ обступившихъ людей.

– Ай, батюшки!

– Вотъ такъ исторія!

– Ты это что же, голубчикъ! – беря мѣщанина почти за воротъ чернаго сюртука, съ сердитой веселостью спросилъ полный, хорошо одѣтый, съ пушистой, свѣтлой бородой господинъ, тотъ самый, который пришелъ къ Ивановой.

Мѣщанинъ злобно оглянулся и вывернулся движеніемъ скользкихъ тонкихъ лопатокъ.

– Вы не хватайтесь! – угрожающе пробормоталъ онъ. – Я за ихъ поклепы не отвѣтственъ... Жѣнитесь я, можетъ, и точно хотѣлъ... Это что говорить... Потому какъ питалъ я такое чувство... А всѣ, значить, смѣются: ты на такой же-нишься!.. тоже при своемъ самолюбіи... Намъ тоже нежѣлательно!..

Полынова, сидѣвшая на полу съ тупымъ ошалѣвшимъ взглядомъ, вдругъ сорвалась и со всей силы вцѣпилась въ полу его сюртука, но мѣщанинъ ловко отскочилъ, и Полынова звонко шлепнула худыми ладонями по гладко крашенному полу – Прокл... – прохрипѣла она, стоя на четвѣренкахъ.

– Да деньги-то ты взялъ? – настаивалъ господинъ съ бородой.

Но мѣщанинъ вдругъ нахохлился.

– А вамъ что? – вызывающе ухмыльнулся онъ. Вы видѣли? А не видѣли, такъ и соваться нечего!.. Да если бы и отда-

ли онѣ свой капиталъ кому такъ въ томъ ихъ добрая воля... Какъ любимица я имъ, можетъ, больше, чѣмъ на триста рублевъ, денегъ переносиль...

– Врешь, врешь, подлецъ! – захрипѣла, теряя голосъ, Полынова. – Самъ съ меня тянулъ... проклятый!..

Вдругъ она замолчала, стиснула зубы и уставилась на всѣхъ такимъ страннымъ, наивно-удивленнымъ взглядомъ, что отъ нея отшатнулись, и даже мѣщанинъ опасливо замолчалъ...

– Чего ты? – спросила Иванова наклоняясь. Зубы Полыновой стучали, она судорожно разводила руками по полу и вдругъ ухватилась за животъ и закричала тоненькимъ пронзительнымъ голосомъ.

– Да она рожаетъ! – крикнулъ кто-то и совершенно глупо захихикалъ.

Сразу всѣ, заговорили и задвигались. Послышались софты, сожалѣнія, и кто-то побѣждалъ зачѣмъ-то за водой. Господинъ съ бородой хотѣлъ опять захватить за шиворотъ мѣщанина, но тотъ плюнулъ, надѣлъ шапку тутъ же въ комнатѣ и съ обиженнымъ видомъ пошелъ вонъ.

– Это ужъ Богъ, знаетъ что такое! – возмущенно бормоталъ онъ.

Подымавшійся снизу по лѣстницѣ дворникъ тупо посмотрѣлъ ему въ спину.

VII

Къ вечеру, когда все мало-по-малу успокоилось, когда за-
жгли огонь и всѣ разошлись по своимъ комнатамъ, Саша
сидѣла на своей кровати съ хорошенькой Ивановой. Сюрту-
кова опять, хоть и не полагалось спать раньше времени, ти-
хо похрапывала, опершись головой на столикъ. Рябая непод-
вижно сидѣла спиной къ Сашѣ, но по ея спинѣ Саша и Ива-
нова чувствовали, что она ихъ слушаетъ. Кохъ въ дальнемъ
углу шила что-то у свѣчки. Было тихо.

– Мы въ этой палатѣ, – говорила Иванова, смѣясь одними
глазами, – все «новенькія», которыя еще къ дѣлу не пристро-
ены, а то у нихъ тутъ скоро... Даромъ кормить не будутъ...

– А вы какъ сюда, душенька, попали? – робко спрашивала
Саша и сама удивлялась, какая она тутъ стала тихая и лас-
ковая.

– Да такъ, – весело засмѣялась Иванова, встряхивая во-
лосами: – надоѣло по улицамъ шляться... устала... Поживу
тутъ, отдохну... Какъ къ работѣ приставятъ, уйду.

– Куда? – еще робче спросила Саша. Ей было странно и
даже непріятно слышать, что и отсюда уходятъ.

– Да куда... Туда, откуда и пришла! – звонко и нисколько
не смущаясь, отвѣтила Иванова. Саша смотрѣла на нее съ
недоумѣніемъ.

– Чего-жъ вы удивляетесь? Неужто-жъ мнѣ и вправду

здѣсь исправляться? – дѣлая комически больше глаза, спросила Иванова.

– А зачѣмъ же вы и пришли, какъ не для того.

– Да ужъ не за исправленіемъ!.. Богъ съ ними, что у нихъ святости отбирать... Самимъ имъ она очень пригодится... Васъ кто принялъ?

– Дама... красивая такая... брюнетка... не знаю...

– Фонъ-Краузе, – глухо отозвалась рябая, не поворачивая спины.

– То-то и есть, – засмѣялась Иванова, какъ по-казалось Сашѣ, даже радостно: – у этой Краузе любовниковъ не оберешься... а тоже... исправляетъ... Ну ихъ къ чорту!.. Всѣ они одинъ другого грѣшнѣй, коли правда, что есть грѣхъ на свѣтѣ!..

– Ну-у... – недовѣрчиво протянула Саша, но ей пріятно было слышать и охотно вѣрилось этому.

– Вотъ и ну!.. Съ ихними же мужьями мы гуляемъ, пока онѣ насъ спасаютъ! У этой Лидки Краузе, что ни туалетъ, то и тысяча, а для спасенія... Ради мужчинокъ же одѣваются да оголяются, а что денегъ за это не берутъ, такъ только потому, что свои есть! Спасаютъ!.. Было бы отъ чего!..

– Да какъ же, – застѣнчиво пожала плечами Саша.

– Что, какъ же?.. Лучше бы отъ голода да отъ тоски спасали, когда я въ магазинѣ платья шила, цѣлый-то день спины не разгибая... за четыре рубля въ мѣсяць! – со страннымъ для ея мягкаго красиваго личика озлобленіемъ говорила

Иванова.

– Я тоже въ магазинѣ была прежде, – съ тяжелымъ вздохомъ проговорила Саша.

Иванова помолчала.

– Исправляться... было бы хоть для чего, – заговорила она, глядя въ сторону: – ну, вотъ я исправлюсь... ну... а дальше что?

– Честная будете, – съ убѣжденіемъ проговорила Саша.

Иванова съ веселымъ озлобленіемъ всплеснула руками.

– Экъ, радость!.. Да я тогда и была честная, когда голодала... Такъ отъ честности я и на улицу пошла!.. Потому всякому человѣку жить хочется, а не... Что жъ, я скажу, правда – и на улицѣ не медь, я и не радовалась, когда на улицу пошла... А все-таки... Я вотъ, говорятъ, хорошенькая! – улыбнулась Иванова.

– Очень вы хорошенькія, – съ умиленіемъ сказала Саша.

– Вотъ... чудачка вы!.. Такъ, вѣдь, красота – даръ Божій, говорятъ... счастье... Что жъ мнѣ съ этимъ счастьемъ такъ бы и сидѣть да думать: сошью вотъ это, а тамъ надо юбку для офицерши перешить, а потомъ лифъ кончать, а потомъ еще... что принесутъ, а тамъ состарѣюсь, всѣ лифы перешивать буду... и такъ до могилы... и въ могилѣ, должно быть, по привычкѣ пальцами шевелить буду... А тамъ на крестѣ хоть написать: честная была, честная померла, – извините, что отъ этого никому ни тепло, ни холодно!.. Ха!

Саша молчала. Ей было грустно, точно померкло что, а въ

то же время стало и легче на душѣ.

Иванова помолчала опять, а когда заговорила, то голосъ у нея былъ нѣжный и мечтательный.

– Я понимаю, если всю эту муку есть для кого терпѣть... или тамъ задача въ жизни какая есть... А намъ вѣдь только и радости въ жизни – нацѣловаться покрѣпче!..

– Будто? – отозвалась рябая такъ неожиданно, что Саша вздрогнула.

– Да, можетъ быть, у кого и другія радости есть, ну... и слава Богу – его счастье! – радуйся и веселись!.. А какая у меня, напримѣръ, или вотъ у нея, – показала она на Сашу, – или у Кохъ...

Кохъ опустила работу на колѣни и смотрѣла на нихъ тупо и скучно.

– А?

Рябая молчала.

– И кто отъ меня можетъ требовать, чтобы я, дура темная, свою одну радость – красоту и молодость засушила такъ... ради спасенія одного?.. Ты мнѣ укажи, для чего, для кого, дай такое, чтобы я отъ спасенія моего такъ вотъ прямо и радость почувствовала, чтобы мнѣ, спасшейся, жить легчѣ стало! Вотъ!.. Такихъ, чтобы такъ, для Бога, вериги носили, можетъ, на всемъ свѣтѣ два, три, да и тѣ не здѣсь, а гдѣ-нибудь на Аѳонѣ спасаются... А всѣмъ...

Въ это время отрывисто звякнулъ и задребезжалъ колокольчикъ въ коридорѣ...

И сейчас же Кохъ встала, аккуратно сложила шитье и стала стлать постель. Проснулась и Сюртукова, и рябая тоже встала, потягиваясь.

– Ну, вотъ и бай-бай! – засмѣялась Иванова. – Черти, электричества жалко!

– А мнѣ спать-то еще не охота, – не понявъ, сказала Саша: – посидите душенька.

Иванова съ насмѣшкой на нее посмотрѣла.

– Не охота!.. Мало ли чего тутъ не охота!.. Такой тутъ порядокъ. Что, не нравится? Ложитесь, а то Корделія наша придетъ!..

– Чего? – не разобрала Саша.

– Корделія, Корделія Платоновна... надзирательница наша, – пояснила Иванова.

– Пора спать, – сказала въ дверяхъ скрипучая дама.

– Сейчасъ, – вяло отозвалась Иванова.

Черезъ минуту уже всѣ лежали подъ несгибающимися твердыми одѣялами. Кохъ сейчасъ же захрапѣла.

– Ишь, дьяволь добродѣтельный! – со злостью сказала о ней Иванова. – Сколько въ ней этой самой добродѣтели!

Электричество разомъ потухло. Раскалившаяся дужка еще краснѣла въ темнотѣ, и слышно было слабое придушенное сипѣніе.

А когда это сипѣніе затихло и воцарилась совсѣмъ мертвая тишина, робкій голосъ, который самой Сашѣ показался страннымъ, произнесъ во мракѣ:

– А если у меня есть для чего... это самое?...

– Дура! – отозвался съ непоколебимымъ презрѣніемъ сип-
лый и глухой басъ.

VIII

Саша притихла. Опять подавешнему через окна падали на потолок полосы колеблющегося свѣта, было темно и тихо.

Саша смотрѣла въ темноту подь сосѣдней кроватью, а передь нею роємъ кружились и плавали лица, образы и мысли дня. И уже совершенно опредѣленно и понятно ей дорогимъ выплываль образъ студента Дмитрія Николаевича.

«Имячко какое милое, – думала Саша: – Митя... Митенька... А что жь, и правда: всѣ мы одинаковыя... и та, что по-французски смѣялась, и Польшова... все одно! У каждого грѣхъ есть и каждый можетъ свой грѣхъ передь Господомъ замолить, передь людьми исправиться... Ну, была дѣвкой... что жь... буду честная, какъ всѣ.. не грѣшнѣй! И коли онъ меня и вправду любить»...

«А любить?» – вдругъ съ испугомъ спросила она себя и поблѣднѣла.

«Не любилъ, такъ и не хлопоталь бы!.. А можетъ, изъ жалости?.. Нѣтъ, самъ говорилъ, что цѣны мнѣ нѣтъ, что – красавица... А что дѣвкой была, такъ я слезами то отмою... А ужъ какъ я любить буду... Миленькій мой, красавчикъ мой золотой»!

И поплыло что-то свѣтлое, радостное. Темнота наполнилась золотыми искорками и кругами, они разбѣжались, раз-

лилось золотое море. На глаза набѣжали слезы; Саша сморгнула ихъ и все думала, не отрываясь. Все существо ея переполнилось горячимъ чувствомъ безпредѣльной любви и могучаго желанія счастья. Вся она дрожала мелкой дрожью отъ бессознательной силы, красоты и молодости.

Было темно и тихо, и во всемъ громадномъ мірѣ для Саши были только двое: она сама и человѣкъ, котораго она любила. И не было больше ни раскаянія, ни страха передъ людьми, которые что-то старались съ ней сдѣлать, не было прошедшаго, а было только желаніе счастья.

IX

На другой день Сашу перевели въ женскую частную лечебницу, куда набирали сидѣлокъ откуда угодно, потому что трудъ ихъ былъ тяжелъ и опасенъ и не давалъ ни радости ни денегъ.

А дня черезъ три Дмитрій Николаевичъ Рославлевъ ѣхалъ на извозчикѣ въ эту лечебницу. Ему было холодно и почему-то досадно. Всегда онъ посѣщалъ кафе-шантаны, трактиры, бильярдныя и публичныхъ женщинъ, но никто не интересовался его частной жизнью, а исторія съ Сашей вдругъ стала извѣстна всѣмъ и всѣхъ заинтересовала. Тотъ самый господинъ, пожилой чиновникъ, котораго онъ просилъ за Сашу, съ удовольствіемъ разсказалъ объ этомъ при первомъ удобномъ случаѣ. Узнали и его родные. Они были воспитанные люди и не сказали ему, и онъ зналъ, что не скажутъ ни одного слова, но по страдающему лицу матери, по тревожно-любопытнымъ взглядамъ сестры и тому непріятному сосредоточенному молчанію, которое внезапно воцарялось при его появленіи, Дмитрій Николаевичъ видѣлъ, что имъ все извѣстно и что онѣ недовольны имъ. А всего непріятнѣе было Дмитрію Николаевичу то, что надъ нимъ начали подшучивать товарищи, и, не смотря на свои убѣжденія, онъ чувствовалъ, что это достойно шутки. Конечно, если бы съ нимъ стали спорить, онъ совершенно справедливо отвѣтилъ

бы, что не только не смѣшно, но даже очень хорошо, что онъ помогаетъ человѣку выбиться изъ дурной жизни, что такъ и слѣдуетъ поступать. Но въ то же время онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто къ нему прилипло что-то грязное и пошлое.

«Надо непременно кончить эту глупую исторію» – думалъ Дмитрій Николаевичъ, хватаясь за сидѣнье, когда санки забѣгали на поворотахъ.

Оттого, что погода была хороша, свѣтла и морозна здоровымъ, бодрящимъ морозцемъ, всѣ люди имѣли веселый и бойкій видъ, и такой же видъ былъ у самого Рославлева. Но ему казалось, что въ немъ есть и всѣмъ видно что-то дурное.

«А какъ она мнѣ руку... тогда!» – съ неопредѣленнымъ чувствомъ жалости и сознанія, что онъ достоинъ этого, подумалъ Дмитрій Николаевичъ.

Больница была совсѣмъ старое, мрачное, облупленное зданіе. Старый швейцарь, почему-то пахнущій канифолью, отворилъ дверь Рославлеву и принялъ его шинель.

– Вамъ кого? – спросилъ онъ, шамкая. – Нынче пріема нѣтъ.

– Знаю, знаю, – заторопился Дмитрій Николаевичъ. – Я по дѣлу; мнѣ нужно видѣть сидѣлку Козодоеву.

– Такой у насъ нѣтъ. – отвѣтилъ швейцарь и полѣзъ доставать съ вѣшалки его шинель.

Дмитрій Николаевичъ испуганно придержалъ его за рукавъ.

– Она недавно, вы можетъ быть, не знаете!

– А можетъ и то, – равнодушно отвѣтилъ швейцаръ. – Вы навѣрхъ пройдите, тамъ скажутъ.

Дмитрій Николаевичъ торопливо поднялся по широкой, но темной лѣстницѣ.

Швейцаръ что-то пробормоталъ.

– А, что? – поспѣшно переспросилъ Дмитрій Николаевичъ, останавливаясь съ приподнятой на ступеньку ногой.

– Много у насъ ихъ тутъ, говорю, всѣхъ-то не упомнишь, – повторилъ швейцаръ равнодушнѣе прежняго.

– Ну, да... конечно, – торопливо согласился Дмитрій Николаевичъ, ослабляясь.

И улыбка у него вышла какая-то подобострастная.

«Чертъ знаетъ, что такое! – съ мукой въ душѣ подумалъ онъ, поднимаясь дальше. – Я, кажется, начинаю бояться всѣхъ... Точно я сдѣлалъ что-то такое, за что у всѣхъ обязанъ прощенія просить. А вѣдь я очень хорошо сдѣлалъ... лучше всѣхъ сдѣлалъ!..»

Онъ прошелъ три площадки и на четвертой столкнулся съ Сашей.

Она видѣла въ окно, какъ онъ подѣхалъ, и съ замирающимъ сердцемъ, радостно испуганная, выбѣжала на встрѣчу.

И оба они покраснѣли разгорѣвшимся молодымъ румянцемъ.

– Не ждали?.. Здравствуйте, – сказалъ тихо, точно заговорщикъ, Дмитрій Николаевичъ.

Онъ почему-то ждалъ, что Саша, какъ и въ первый разъ,

заработеть, но Саша легко и радостно взглянула прямо ему въ лицо и отвѣтила:

– Какъ можно... Здравствуйте!

На лѣстницѣ никого не было, швейцарь тихо копошился внизу, наверху лѣстницы тихо и спокойно тикали часы, раскачивая большой желтый маятникъ.

И вдругъ что-то странное, влекущее протянулось между нимъ и розовыми, слегка раскрывшимися губами Саши, и прежде чѣмъ Дмитрій Николаевичъ понялъ, что онъ дѣлаетъ, онъ уже почувствовалъ, что не можетъ не сдѣлать, и, весь замирая отъ невыразимо-пріятнаго, свѣжаго, боязливо-радостнаго чувства, нагнулся, и губы его будто сами нашли мягкія, холодноватыя губы Саши и придавили ихъ, раскрывая твердые ровные зубы. и что-то горячее отдалось во всемя его тѣлѣ.

На глазахъ у Саши выступили слезы, но глаза блестя, какъ черныя вишни.

– Сюда... пойдёмъ, – тихо сказала она, тупясь. И не онъ, а она уже повела его въ конецъ коридора и посадила на холодный, твердый диванчикъ.

– Развѣ можно? – почему-то шопотомъ спросилъ Дмитрій Николаевичъ.

– Можно, – такимъ же дрожащимъ голосомъ отвѣтила Саша.

Въ коридорѣ было такъ же пусто и тихо, какъ и на лѣстницѣ. Только въ сосѣдней палатѣ кто-то тяжело ходилъ взадъ

и впередь, то приближаясь. то удаляясь, шаркая туфлями, и каждый разъ, доходя до двери, звучно плевалъ куда-то.

И опять, точно повинуюсь какой-то посторонней, могучей торжествующей силѣ, Дмитрій Николаевичъ обнялъ Сашу и, весь дрожа и замирая, сталъ цѣловать ея въ губы, вдругъ ставшія такими горячими, что почти жгли. У самаго его лица были ея черные, блестящіе, не то лукавые, не то таинственные глаза, и отъ ея порозовѣвшаго лица, совсѣмъ не похожаго на то накрашенное и сухое лицо, которое знали Дмитрій Николаевичъ, пахло чѣмъ-то свѣжимъ и невыразимо пріятнымъ.

— Этого... ужъ... нельзя... тутъ!.. — полушопотомъ, но счастливымъ и лукавымъ голосомъ говорила Саша по одному слову между поцѣлуями и вся тянулась къ нему, прижимаясь упругой грудью и маленькой рукой.

— Можно... можно... — такъ же лукаво повторялъ онъ ея слова.

Кто-то шель по лѣстницѣ. Сверху спустилась худая и блѣдная, съ очень ласковымъ и печальнымъ лицомъ, сидѣлка.

На ней было такое же платье, какъ и на Сашѣ. Она прошла, стараясь не смотрѣть, и стала возиться у шкафчика на другомъ концѣ длиннаго коридора. А Дмитрій Николаевичъ только теперь обратилъ вниманіе на Сашинъ костюмъ.

Она была вся въ бѣломъ балахонѣ, закрывающемъ грудь. Изъ этой бѣлой и чистой матеріи удивительно свѣжее и хо-

рошенькое личико ея смотрѣло точно новое, въ первый разъ имъ видѣнное. И она чувствовала, что хорошенькая, и радостно улыбалась ему.

– Ну, какъ вамъ тутъ? – тихо и тоже улыбаясь спросилъ онъ, косясь на сидѣлку.

– Ничего, – радостно отвѣтила Саша. – Работа тяжелая, а... ничего, пусть. Я тутъ долго пробуду... пусть...

– Почему такъ? – любясь ею и заглядывая ей въ глаза, спрашивалъ онъ.

«Потому что я хочу очиститься этой каторгой; тяжелой и скучной работой, какую ты никогда не дѣлалъ, искупить то дурное, въ чемъ жила раньше, и стать достойной тебя!» – сказала ея покраснѣвшееся лицо, но говорить такъ Саша не умѣла. Она только улыбнулась и тихо отвѣтила:

– Такъ!

– Значить, вы рады, что ушли? – спросилъ Дмитрій Николаевичъ, не понимая выраженія ея лица. Но зато онъ сейчасъ же догадался, что спрашивать этого не надо было.

Саша потупилась и лицо у нея стало жалкое, дѣтское и виноватое.

«Ты и всегда это вспоминать будешь?» – сказала оно ему и опять непонятно для него.

– Да... какъ же-съ, – прежнимъ робко нерѣшительнымъ голосомъ отвѣтила она и потупилась.

И Дмитрію Николаевичу стало жаль, что у нея лицо померкло, и захотѣлось, чтобы у нея явилось то милое, опять

наивно-восторженное выражение, съ которымъ она его цѣловала.

– Ну, вотъ... – заторопился онъ, – теперь, значить, новая жизнь начнется. Вы тутъ, конечно, будете только пока, а тамъ я устрою васъ куда нибудь.

И лицо Саши сразу посвѣтлѣло, розовыя губы открылись и глаза довѣрчиво поднялись къ нему.

– Дмитрій Николаевичъ, – вдругъ сказала она съ какимъ-то проникновеннымъ выраженіемъ: – вѣрьте Богу, я не «такая...» и была «такая», а теперь нѣтъ... да и никогда я «такой» не была!

Дмитрій Николаевичъ удивленно посмотрѣлъ на нее:

– Да, конечно... – пробормоталъ онъ; – то-есть, я не то хотѣлъ сказать, а я понимаю, и... вѣрю я...

Онъ путался и мѣшался потому, что хорошо, до самой глубины, понялъ смыслъ Сашиныхъ словъ, и совершенно не могъ имъ повѣрить.

– Козодоева! – сказала, опять выходя въ коридоръ, сидѣлка. – Ваша баронесса уже плачетъ... идите...

И ушла, не глядя.

Саша встала. Она не поняла и даже почти не слышала его словъ, такъ была вся душа ея поглощена тѣмъ великимъ для нея чувствомъ, которое было въ ней.

– Надо итти, – грустно сказала она.

– Какая тамъ баронесса? – и радуясь перерыву и огорчаясь, спросилъ Дмитрій Николаевичъ, тоже вставая и съ вы-

соты своего богатырського роста глядя на ея потемнѣвшее личико.

– Больная моя, – отвѣтила Саша. – Капризная... страсть! Мочи съ ней нѣтъ. Только вы не думайте, голубчикъ мой, – вдругъ испугалась она, – я не то... я за ней хорошо смотрю... И хоть бы больше капризничала, пусть!

«Я потерплю», опять покорно сказали ея глаза.

Они стояли другъ противъ друга, точно не рѣшаясь выговорить чего-то. Въ коридорѣ было полутемно, и они неясно видѣли глаза другъ друга, но что-то росло и крѣпло между ними. Былъ одинъ моментъ, который Саша помнила уже потомъ всю жизнь, но чего-то не хватило. Дмитрій Николаевичъ опустилъ глаза и сказалъ:

– Жаль... Ну, я потомъ приду... Къ вамъ, значить, всегда можно?

Саша вздохнула покорно, но грустно.

– Всегда... Прямо меня и спросите.

– Да я и сегодня спрашивалъ, а швейцаръ сказалъ, что у нихъ такой нѣтъ.

Саша всплеснула руками.

– Ахъ, противный старичокъ какой! Я же ему сегодня сама говорила...

Саша растерялась и засмѣялась своему смущенію.

– Ну, надо итти, – сказала она и не уходила.

– А... – началъ Дмитрій Николаевичъ.

И опять, какъ раньше, что-то потянуло его, и губы его

встрѣтились съ Сашиными, показавшимися ему какими-то необыкновенно вкусными.

Саша смотрѣла на него сверху, когда онъ медленно спускался съ лѣстницы. Уже съ нижней ступеньки онъ обернулся, увидѣлъ бѣлую фигурку, прилѣпившуюся къ прямымъ длиннымъ периламъ лѣстницы, и улыбнулся ей съ внезапнымъ порывомъ нѣжности и влюбленнаго восторга.

Х

Когда Рославлевъ, все еще весь переполненный смутнаго, пріятнаго и немного недоумѣвающаго чувства, пріѣхалъ домой и прямо прошелъ въ свою комнату, въ дверь къ нему тихо постучалась и позвала его сестра.

– Митя! Можно къ тебѣ?

Рославлевъ очень любилъ всѣхъ своихъ родныхъ, сестру больше всѣхъ. Теперь когда было такъ весело и хорошо, видѣть сестру доставило ему большое удовольствіе.

– Можно, можно! – закричалъ онъ весело и нѣжно. – Входи, Нюня!

Нюня отворила дверь и вошла. Какъ всегда, что особенно умиляло брата, она была такая чистенькая и свѣженькая, что вся комната какъ будто освѣтилась и наполнилась свѣжимъ, пріятнымъ запахомъ чистоты и молодости.

Но лицо у нея было нерѣшительное и смущенное.

– Что скажешь хорошаго? – спросилъ Рославлевъ, застегивая тужурку. Хотя всѣ они жили очень дружно, но были воспитаны болѣе чѣмъ щепетильно и никто не позволялъ себѣ не аккуратности въ костюмѣ при матери и сестрѣ.

Нюня сѣла на кушетку и, поднявъ на брата смущенные, красивые глаза, заговорила съ такимъ видомъ, что было видно, какъ долго и обдуманно она собиралась къ нему.

– Митя, ты не сердись на меня, я хотѣла тебѣ сказать, хотя

это, конечно, не мое дѣло, что папа такъ недоволенъ тобою, что я просто боюсь за ваши отношенія, – деликатно смягчая значеніе своихъ словъ, сказала она.

Рославлевъ сразу догадался въ чемъ дѣло, и ему стало холодно, какъ будто его поймали въ скверной и мальчишеской продѣлкѣ. Онъ тупо стоялъ передъ Нюней, не смѣя отвести глазъ, и судорожно шевелилъ пальцами лѣвой руки. И Нюня смотрѣла на него, и въ ея глазахъ ясно выражались смущеніе и смутное тревожное любопытство. Она знала, что существуютъ дома терпимости и что ихъ посѣщаютъ всѣ молодые люди, но никакъ не могла, представить себѣ, что и братъ тоже бываетъ тамъ. Она была чистая дѣвушка и даже боялась думать о такихъ сторонахъ жизни, но инстинктъ тревожилъ ее, подсказывая то, что дѣлалъ братъ, и что-то смутно и интересно волновалось въ ней.

– Что же, Митя? – вздрагивающимъ голосомъ спросила она.

И опять Дмитрій Николаевичъ съ недоумѣніемъ подумалъ:

«Да что же это въ самомъ дѣлѣ? Неужели это дѣйствительно гадко, или всѣ такъ опошлились, что уже не могутъ видѣть ничего кромѣ гадости... даже въ самомъ хорошемъ дѣлѣ!..»

– Видишь ли, Нюня – заговорилъ онъ такимъ голосомъ, точно заикался на каждомъ звукѣ, – это очень тяжело... что мы съ отцомъ не понимаемъ другъ друга... И что, вообще...

– Ты бы попробовалъ объясниться съ нимъ, – робко пред-

ложила Нюня, вдруг испугавшись, что онъ заговорить о томъ, о чемъ ей очень хотѣлось, чтобы онъ заговорилъ.

– Врядъ ли онъ пойметъ меня, – съ горечью сказалъ Дмитрій Николаевичъ, и очень красивою показала ему эта горечь и ободрила его: – слишкомъ разныхъ взглядовъ мы съ нимъ люди.

– Митя, нашъ папа всегда былъ человѣкомъ интеллигентнымъ, – слегка обижаясь за отца, возразила Нюня. – Его взгляды всегда были самые лучшіе, всегда честные... И если то... все это хорошо, то онъ пойметъ...

Чувство нѣжности къ отцу появилось у него; Дмитрій Николаевичъ почувствовалъ слезы на глазахъ и рѣшимость прямо и откровенно сказать все. Онъ подошелъ къ Нюнѣ и, взявъ ее за плечи, простымъ и груднымъ голосомъ проговорилъ:

– Ты права, Нюня... Но ты сама не считаешь меня дурнымъ?

«Вотъ оно!» съ испугомъ и замирающимъ любопытствомъ подумала Нюня и, поднявъ глаза и усиливаясь не покраснѣть, отвѣтила:

– Я знаю, что ты не способенъ ни на что... гадкое...

– Спасибо, – растроганно отвѣтилъ Дмитрій Николаевичъ, искренно чувствуя въ эту минуту, что не способенъ ни на что дурное, и, не опуская рукъ сказалъ. – Больно видѣть, Нюня, что именно то, что ты считаешь самымъ святымъ, понимается людьми близкими, какъ... преступленіе, – dokon-

чилъ онъ, испугавшись слова «развратъ», которое пришло ему въ голову.

– Митя, поиди къ папѣ! – вдругъ со слезами на глазахъ и съ особеннымъ проникновеннымъ звукомъ голоса сказала Нюня.

Дмитрій Николаевичъ смутился, и замялся, но глаза Нюни такъ довѣрчиво и съ такой любовью смотрѣли на него, что онъ, противъ воли путаясь, проговориль:

– А онъ дома?

– Дома... онъ въ кабинетѣ и одинъ... Поиди, Митя! – умоляющимъ голосомъ протянула Нюня и взяла его за руки.

– Хорошо... я поиду, – неровно проговориль Дмитрій Николаевичъ, медленно подвигаясь къ двери.

– Ты такъ обрадуешь этимъ маму и меня, – ободря говорила Нюня, идя съ нимъ.

Дмитрій Николаевичъ рѣшительно подобрался и пошелъ, но въ дверяхъ остановился и, поддаваясь внезапному влеченію, спросиль, глядя прямо въ глаза Нюнѣ:

– А ты бы сдѣлала на моемъ мѣстѣ такъ?

– Конечно! – твердо отвѣтила Нюня, потому что была въ этомъ убѣждена.

– Если бы ты видѣла эту дѣвушку, – вспоминая Сашу и испытывая какое-то нѣжное и тревожное чувство, продолжалъ Дмитрій Николаевичъ, – она такая несчастная. И не она виновата передъ обществомъ, а общество передъ нею...

– Да, да, – вдругъ испуганно согласилась Нюня; ей по-

казалось, что онъ хочетъ предложить ей увидѣться съ этой дѣвушкой.

Дмитрій Николаевичъ хотѣлъ еще что-то сказать и не находилъ словъ, а Нюня поспѣшно перебила, чтобы не дать ему высказать:

– Да гдѣ ты узналъ?...

– Да тамъ... товарищи сказали, – весь багровѣя отъ прилившей сразу крови, упавшимъ голосомъ проговорилъ Дмитрій Николаевичъ. Такъ я пойду...

– Да, иди, иди – также упавшимъ голосомъ и такъ же торопливо сказала Нюня, почти догадываясь и боясь догадаться.

Она осталась въ, комнатѣ, а Дмитрій Николаевичъ пошелъ въ, кабинетъ отца. И у обоихъ у нихъ осталось такое чувство, точно они оба сказали что-то лживое и злое.

Николай Ивановичъ, отецъ Дмитрія Николаевича, сидѣлъ за работой у себя въ кабинетѣ, хорошо обставленной уютной комнатѣ. Онъ былъ писатель, и теперь кончалъ одинъ изъ своихъ рассказовъ. Увидѣвъ сына, отложилъ перо и, избѣгая смотрѣть на него, что вошло ему въ привычку за послѣдніе дни, когда между ними явилось это невысказанное непріятное чувство, встрѣтивъ его притворно-беззаботнымъ возгласомъ:

– А, это ты... А я думалъ, ты еще не пріѣзжалъ.

– Давно уже дома, – отвѣтилъ Дмитрій Николаевичъ такимъ же притворно-беззаботнымъ голосомъ.

Онъ сѣлъ противъ отца и, взявъ со стола папиросу, сталъ закуривать. Отецъ смотрѣлъ на него искоса съ мучительнымъ и огорченнымъ выраженіемъ. Какъ разъ сегодня онъ говорилъ съ женой о сынѣ, и у нихъ было рѣшено деликатно поговорить съ нимъ. Но ему хотѣлось, чтобы сынъ самъ заговорилъ объ этомъ и тѣмъ доказалъ, что онъ вѣритъ ему и уважаетъ его.

«Кажется, я могу рассчитывать на это?» говорилъ Николай Ивановичъ, намекая не на отцовскія права, а на свою литературную дѣятельность, въ честности и передовитости которой онъ никогда не сомнѣвался. Ему казалось, что написать три книги такихъ рассказовъ, какіе написалъ онъ, хорошее и большое дѣло, и въ правѣ его на уваженіе и довѣріе всѣхъ никто не можетъ сомнѣваться.

И ему было очень пріятно, что сынъ началъ самъ.

— Слушай, папа, — съ усиліемъ заговорилъ Дмитрій Николаевичъ, притворяясь, что небрежно слѣдитъ за клубами дыма: — я замѣтилъ, что ты мною недоволенъ, и знаю, за что, но... только...

Николай Ивановичъ, волнуясь, всталъ и заходилъ по комнатѣ.

— Ну, да... я знаю, я знаю, — перебилъ онъ, мучительно краснѣя, — что жъ, по существу въ этомъ нѣтъ ничего такого... и если мы съ матерью... то только ради тебя...

Дмитрій Николаевичъ былъ очень радъ, что отецъ говоритъ самъ, и молчалъ, уставившись въ узоръ ковра.

«Но если нѣтъ ничего въ этомъ позорнаго, то отчего же мы всѣ такъ волнуемся?» – невольно пришло ему въ голову.

– Видишь ли, – рѣшившись прямо перейти къ этому вопросу, продолжалъ отецъ, – я самъ былъ молодъ, конечно, – онъ робко улыбнулся, – и не безупреченъ въ этомъ отношеніи... да и никто не безупреченъ, всѣ люди, всѣ чело-вѣки, – опять улыбнулся онъ и заторопился, – это фізіологическая потребность, тутъ ничего не подѣлаешь, но зачѣмъ же подчеркивать это? Если ты чувствовалъ себя виноватымъ по отношенію къ этимъ жертвамъ общественнаго темперамента, то ты могъ бы принять такое или иное участіе въ обществахъ... благотворительныхъ, но такъ... право, Митя, выходитъ некрасиво!.. Ты прости меня...

Дмитрій Николаевичъ покраснѣлъ и еще упорнѣе сталъ изучать узоръ на коврѣ. Ему ясно припомнилось, что онъ и самъ чувствовалъ все время что-то грязное въ этой исторіи и не могъ понять, что именно.

– Я, ты знаешь, – помолчавъ, точно дожидаясь отвѣта и не дождавшись, проговорилъ отецъ, – самъ не мало поработалъ надъ этимъ вопросомъ, лѣтъ десять тому назадъ меня даже звали въ шутку ангеломъ-хранителемъ этихъ дамъ, и врядъ ли не лучшія мои вещи написаны ради уясненія обществу его отвѣтственности передъ этими несчастными!..

Дмитрій Николаевичъ значительно кивнулъ головой. Хотя онъ и говорилъ сестрѣ о томъ, что отецъ врядъ ли пойметъ его, но въ глубинѣ души чрезвычайно гордился отцомъ, какъ

писателемъ.

– Ну, вотъ, – обрадовался отецъ, – и я не могу не радоваться тому, что ты сдѣлалъ, по идеѣ... но это надо было не такъ... И, знаешь, разъ уже ты запутался, я готовъ дать тебѣ денегъ... пристрой ее въ мастерскую... въ какую-нибудь. Но самому тебѣ принимать близкое участіе не стоитъ... Невольно у всякаго является мысль о томъ, гдѣ ты съ ней познакомился и какія у васъ отношенія теперь... Хотя я, конечно, увѣренъ, что теперь ничего нѣтъ... Это было бы уже совсѣмъ... нехорошо! – съ искреннимъ чувствомъ сказалъ Николай Ивановичъ.

Какъ и сынъ, онъ не уяснялъ и не могъ бы уяснить, почему именно это нехорошо, но былъ твердо въ этомъ увѣренъ. А Дмитрію Николаевичу показалось, что онъ ударилъ его этими словами. Онъ безпокойно зашевелился и бросилъ папиросу, но въ слѣдующую минуту, какъ и всегда, когда онъ открывалъ въ себѣ что-нибудь дурное, Дмитрій Николаевичъ подыскалъ оправданіе:

«Но вѣдь теперь совсѣмъ не то, тогда было свинство... развратъ, а теперь я... совершенно искренно, я...» Но это оправданіе испугало его еще больше, чѣмъ слова отца.

И Николай Ивановичъ замѣтилъ это по его лицу и, понимая въ другомъ смыслѣ, заторопился кончить свое объясненіе:

– Я понимаю, что тебѣ это тяжело, и мнѣ самому непріятно... Но ты понимаешь, что я рѣшился только для твоего

же блага... Повторяю, исторія, въ основаніи которой лежитъ самое благородное чувство, благодаря обстановкѣ, такъ сказать, принимаетъ некрасивую окраску... Притомъ ты знаешь наши нравы, знаешь, какъ на это посмотреть... пойдутъ сплетни и даже, какъ я замѣтилъ, уже и пошли... Объ этомъ постарался Гвоздиловъ, конечно... Ты сдѣлалъ большую ошибку, что заговорилъ съ нимъ... Попросилъ бы лучше Истаманова, что ли.

И, желая приласкать сына и затереть въ немъ дурное впечатлѣніе отъ объясненія, Николай Ивановичъ слегка обнялъ его и ласково проговорилъ:

— Мы съ матерью такъ любимъ тебя и уважаемъ, что намъ больно было бы, если бы твое имя хоть однимъ краемъ волочилось въ грязи... А ты знаешь, что для дурныхъ людей этого достаточно...

Въ сосѣдней комнатѣ раздался голосъ его жены и Нюни. И, торопясь, Николай Ивановичъ быстро договорилъ:

— Не правда ли, съ этимъ вопросомъ покончено?... Да вѣдь и сдѣлалъ ты совершенно достаточно! Чего жъ еще... Передай ей эти деньги и все прекрасно кончится!

Онъ торопливо отодвинулъ ящикъ стола и, вынувъ, очевидно, заранѣе приготовленную пачку кредитокъ, неловкимъ и боковымъ движеніемъ отдалъ сыну.

— Ты очень добръ! — смущенно пробормоталъ Дмитрій Николаевичъ.

Они пожали другъ другу руки, какъ два друга. Такія от-

ношенія нравились имъ обоимъ.

Провожая сына до дверей, Николай Ивановичъ съ нѣжны-
мъ удовольствіемъ смотрѣлъ въ его еще нѣжное, но уже му-
жественное, красивое лицо и хотѣлъ сказать:

«А главное, я боюсь, что ты увлечешься этой... такіе бла-
городные, милые юноши легко увлекаются идеей спасенія
этихъ тварей; я самъ когда-то чуть не женился на проститут-
кѣ... А это было бы ужасно!»

Но онъ не сказалъ этого и вернулся къ своей работѣ съ
умиленнымъ чувствомъ гордости своимъ сыномъ и воспо-
минанія о томъ времени, когда онъ искренно мечталъ спасти
проститутку и возродить ее къ новой жизни.

«Она ушла тогда отъ меня... а то бы... И слава Богу, во
время убѣдился, что если кто желаетъ ихъ спасенія, то это
спасающіе, а не спасаемыя!»

И, закуривъ папиросу, Николай Ивановичъ серьезно и
вдумчиво сталъ писать.

XI

Въ тотъ же день къ вечеру Дмитрій Николаевичъ пѣшко-
мъ пошелъ на Васильевскій Островъ къ одному изъ своихъ
товарищей, котораго очень любилъ, съ тѣмъ, чтобы расска-
зать ему все и попросить совѣта, какъ лучше устроить дѣло
съ Сашей. Онъ самъ не зналъ, когда именно пришло ему въ
голову такое рѣшеніе, но оно уже было непоколебимо, хотя
и мучило его.

Дорогой онъ все вспоминалъ, въ какомъ невѣроятно жиз-
нерадостномъ и даже блаженномъ настроеніи вышелъ онъ
днемъ изъ больницы. Все казалось ему хорошо, мило, пре-
красно. И санки извозчика, и галки на снѣгу, и городовые
съ усатыми лицами, и собственное тѣло, въ которомъ было
бодрое и куда-то влекущее чувство. Ему было трудно уйти
отъ Саши, и была одна минута, когда онъ чуть не назначи-
лъ ей свиданіе, но, уже выйдя, онъ вспомнилъ и застыдил-
ся этого желанія, хотя оно было пріятно ему. И всю дорогу
онъ вспоминалъ, какъ медленно и жгуче они цѣловались, и
у него кружилась голова и напрягалось желаніемъ тѣло.

Теперь онъ шель сумрачный и разстроенный.

«Отецъ говорить, что теперь это было бы слишкомъ гад-
ко... И я самъ такъ думаю, — съ удовольствіемъ отмѣтилъ
онъ, что думаетъ совершенно такъ, какъ умный и писатель
отецъ. — А если теперь нельзя, то какое же право я имѣлъ

цѣловать ее?.. Какое-то имѣль!.. Было приятно и ничуть не стыдно... А теперь стыдно! Неужели я въ нее былъ влюбленъ тогда?.. Это глупости... Вѣдь, что тамъ ни говори, она – публичная дѣвка! И... не могу же я ее любить!»

Но ему было очень приятно вспоминать каждое слово и каждое движеніе Саши. Ея бѣленькое платье, такое чистое, пахнущее свѣжей матеріей, и такъ къ ней шедшее, мелькало у него въ глазахъ.

«Просто похоть!» грубо подумаль онъ, чтобы успокоить себя, и хотя всегда считаль похоть дурнымъ чувствомъ, но это объясненіе его успокоило, такъ страшна для него была мысль, что онъ могъ бы влюбиться въ бывшую публичную женщину, какова бы она ни была теперь.

«И надо кончить все это сразу... Папа правъ совершенно! И какой я дуракъ, у другого бы это вышло просто, легко и красиво, а у меня вышло такъ грубо, стыдно... и самъ я запутался некрасиво!.. Какой я несчастный! Почему мнѣ ничего не удается?.. Вѣдь я хотѣль самага хорошаго, а выходитъ грязь!.. А почему грязь?.. Это не потому, что я ее вытащилъ, и не потому, что я ее цѣловаль въ больницѣ... А почему же? – съ отчаяніемъ подумаль Дмитрій Николаевичъ. – А потому, вѣдь, что на одну минуту я допустиль возможность какой-то близости между собой и ею, допустиль какъ будто... что я могу любить женщину, которая всѣмъ отдавалась... Я съ нею какъ бы сталъ рядомъ, и вмѣсто спасителя сталъ близкимъ ей человѣкомъ!.. Вотъ и грязь!.. А вѣдь

она въ меня влюблена! – вдругъ спохватился онъ съ ужасомъ. – О, какъ это тяжело все! Надо кончить, надо кончить!.. Конечно, дамъ ей денегъ на машинку, на прожитіе первыхъ мѣсяцевъ... И больше никто отъ меня не можетъ ничего требовать!» – съ ожесточеніемъ противъ чего-то, что смутно, но упорно-тоскливо стояло у него въ груди, чуть не вслухъ проговорилъ Дмитрій Николаевичъ, подходя уже къ дому, гдѣ жилъ студентъ Василій Ѳедоровичъ Семеновъ.

Семеновъ былъ боленъ чахоткой, а потому всегда сидѣлъ дома, и теперь встрѣтилъ пріятеля желтый и сумрачный отъ усилившагося къ вечеру и отъ сырой погоды кашля.

– А, это ты, – сказалъ онъ, отворяя дверь. Въ его комнатѣ, несмотря на открытый отдушникъ, было сильно накурено табаккомъ, отъ котораго Семеновъ не отставалъ, хоть и былъ боленъ грудью.

– Опять куришь! – съ дружескимъ и соболѣзнуюющимъ чувствомъ сказалъ Рославлевъ, снимая шинель и шапку.

– Все равно... – неопредѣленно махнулъ рукой Семеновъ, и въ его голосѣ не было иного чувства, кромѣ тупого равнодушія.

– Ну... – проговорилъ Рославлевъ, сѣлъ и, закуривая папиросу, сейчасъ же заговорилъ о томъ, что его занимало.

– Я къ тебѣ по дѣлу... а?

– Ну? – равнодушно протянулъ Семеновъ, морщась отъ мучительнаго приступа кашля, который онъ старался, напрягая грудь, удержать. Ему все казалось, что его болѣзнь, и ка-

шель, и то, что онъ выплевываетъ мокроту, и его постоянно окровавленный, заплыванный платокъ возбуждаютъ въ людяхъ не состраданіе, какъ они стараются показать, а брезгливое чувство. Когда онъ кашлялъ или шель въ переднюю выплюнуть мокроту, онъ чувствовалъ, что на него стараются не смотрѣть, отворачиваются, и самъ себѣ онъ казался тогда грязнымъ, противнымъ, мокрымъ пятномъ, около котораго даже стоять противно. И всегда въ такихъ случаяхъ онъ сознавалъ, что не виноватъ въ болѣзни и въ ея симптомахъ, что имѣеть право болѣть, плевать, кашлять, что никто не смѣеть презирать его за это, и все-таки страдалъ и чувствовалъ страшную ненависть ко всѣмъ.

Отъ Рославлева за три шага слышенъ былъ свѣжій, пріятный запахъ холоднаго воздуха, принесеннаго со двора, и молодого, сильнаго человѣка. Этотъ бодрый и сильный запахъ входилъ въ легкія Семенова и былъ пріятенъ имъ и мучительно тяжель и ненавистенъ его, измученному болѣзнию и страхомъ, смерти сознанию.

– Ну? – повторилъ онъ и, не удержавшись, закашлялся, брызнувъ тонкими, запекшимися губами.

– О, чортъ! – съ безконечной ненавистью и къ себѣ, и къ кашлю, и къ Рославлеву прохрипѣлъ онъ.

Рославлевъ, именно съ тѣмъ чувствомъ, которое подозрѣвалъ Семеновъ, съ брезгливой жалостью сильнаго и красиваго къ больному и безобразному, смотрѣлъ въ сторону, но думалъ не о немъ, а о томъ, какъ начать.

Когда Семеновъ пересталъ кашлять, отошелъ отъ плевательницы и сѣлъ на кровать, потирая грудь рукою, Рославлевъ заговорилъ:

– Помнишь, я тебѣ рассказывалъ о той проституткѣ, что...

– Помню, – отвѣтилъ Семеновъ, вовсе не помня, сказалъ потому, что ему все хотѣлось перебить здоровый и красивый голосъ. – По проституткамъ ходишь... – зачѣмъ-то прибавилъ онъ.

Рославлевъ вскинулъ на него удивленными глазами и, не смущаясь, весело возразилъ:

– Нельзя... – всѣ люди... – и, уже сказавъ это, вспомнилъ о болѣзни Семенова и неловко замолчалъ.

Молчалъ и Семеновъ, машинально крутя пальцами тощую и маленькую бородку.

– Ну, такъ что, – спросилъ онъ опять.

– Да, – оживляясь, заговорилъ Рославлевъ, – я ее оттуда взялъ и пристроилъ въ пріютъ этотъ... ну, а она... можешь себѣ представить, въ меня влюбилась!

И при этихъ словахъ Рославлевъ вспомнилъ Сашу, такую чистенькую и свѣжую, какою онъ обнималъ и цѣловалъ ее въ больницѣ, и ему стало странно, что онъ о ней говорить «проститутка» такимъ смѣющимся и легкимъ голосомъ.

– Что же тутъ удивительнаго, – улавливая его презрительный тонъ и почему-то обижаясь за проститутку, точно за самого себя, возразилъ Семеновъ. – Ты ее «спасъ»... спаситель... хм!..

Рославлеву, хотя онъ былъ увѣренъ, что это прекрасно и что онъ точно – спаситель, стало смѣшно и неловко.

– Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, – смѣясь, говорилъ онъ, – влюбилась... – И прежде, чѣмъ успѣлъ сообразить, прибавилъ: – и, знаешь, она просто прелесть какая хорошенькая!..

– И ты въ нее влюбился? – усмѣхнулся Семеновъ, и усмѣшка у него вышла добродушная. Рославлевъ сначала улыбнулся, но сейчасъ же и отвѣтилъ:

– Глупости. Какая тутъ можетъ быть любовь! Просто мнѣ жалко стало, когда она руку поцѣловала, ну и... вообще, она хорошенькая, и я же ее зналъ и раньше.

– Значить, ты и послѣ «спасенія» съ нею «того»? – спросилъ Семеновъ съ злой насмѣшкой.

– Нѣ-ѣтъ, что ты! – искренно считая это гадкимъ, сказалъ Рославлевъ и покраснѣлъ.

– Чего жъ ты?

Рославлевъ замаялся, съ испугомъ припоминая то, что было между нимъ и Сашей въ больницѣ.

– Да что... Я знаю, что это нехорошо! – довърчиво прибавилъ онъ, рассказывая Семенову уже все, что съ нимъ случилось.

Семеновъ молчалъ и слушалъ, все такъ же покручивая тонкіе волоски безцвѣтной бородки и такъ же удерживая кашель. И въ этой комнатѣ съ затхлымъ лекарственнымъ запахомъ, около маленькой и плохой лампы, въ присутствіи молчаливаго больного человѣка, съ озлобленнымъ на все лицо-

мь, было такъ неумѣстно и странно то, что онъ разсказываль, что Рославлевъ замолчалъ и смотрѣль на Семенова.

– Василий Ѳедоровичъ! – позвала тонкимъ голосомъ мѣщанка, хозяйка Семенова, изъ-за перегородки.

– Чего? – отозвался Семеновъ, не поворачивая головы.

– Чай будете пить?

– Давайте.

Послышалось звяканье посуды, скрипнула дверь, и тощая беременная женщина въ платочкѣ принесла синій чайникъ и другой, – бѣлый, маленькій, два стакана изъ толстаго стекла и ситный хлѣбъ. Пока она устанавливала все это на столъ, студенты молчали.

– Сами заварите?

– Самъ, – отвѣтилъ Семеновъ.

Она ушла, натягивая концы платка на тяжелый, круглый животъ.

Семеновъ досталь чай и насыпаль его въ чайникъ. Рославлевъ внимательно смотрѣль на это и въ душѣ у него было недоумѣлое и обидчивое чувство.

– «Чего жъ онъ молчить?.. Знаеть, вѣдь, какъ мнѣ трудно было все высказать, и молчить!.. А, впрочемъ, чего я отъ него хочу?.. Онъ и не пойдетъ... Лучше просто написать... конечно, лучше написать!»

– Ну, что же ты скажешь? – неловко и противъ воли спросилъ онъ.

– Что? – равнодушно спросилъ Семеновъ.

– Да вотъ... насчетъ всей этой «исторіи»? – притворяясь улыбающимся и уже съ досадой, весь наливаясь кровью и боясь, чтобы Семеновъ этого не замѣтилъ, пробормоталъ Рославлевъ.

– А что я тебѣ скажу? – сердито отозвался Семеновъ. – Глупости все это.

– Какъ?

– Да такъ... Я тебя и не понимаю вовсе: какого ты чорта взялся за это дѣло и чего теперь мучаешься.

– Странное дѣло, – обидчиво возразилъ Рославлевъ. – Чего взялся?.. А ты бы не взялся?

– Нѣтъ, – упрямо сказалъ Семеновъ.

– Тѣмъ хуже для... – усмѣхаясь, сказалъ Рославлевъ.

– Нѣтъ, не хуже! – визгливо крикнулъ Семеновъ и вдругъ опять мучительно и тяжело раскашлялся. Онъ хрипѣлъ, задыхался, плевался и отхаркивался, и все его тщедушное тѣло дрожало и извивалось.

Рославлевъ, не глядя на него, ждалъ, когда это кончится, и ему было досадно отъ нетерпѣнія и невольно хотѣлось крикнуть: «Да перестань ты!..»

Семеновъ, тяжело дыша, замолчалъ, вытеръ наполнившіеся слезами глаза и холодный мокрый лобъ и всталъ.

– Какое ты-то право имѣлъ ее «спасать»? – заговорилъ онъ, задыхаясь. – Подумаешь, спаситель!.. Спасители...

– Когда человѣкъ тонетъ...

– А другой по уши увязъ, – съ насмѣшкой перебилъ Се-

меновъ. – Скажи мнѣ, пожалуйста, ты-то живешь добродѣтельно?

– Странное дѣло... сравнительно, – почему то смущаясь, пробормоталъ Рославлевъ.

– Сравнительно!.. – визгливо передразнилъ Семеновъ. – Всякій человѣкъ сволочь, и ты сволочь и она сволочь. Ты самъ, какъ и всѣ, такъ же далекъ отъ идеала нравственной чистоты, какъ и она, а небось, если бы тебя спасти вздумали, ты бы даже въ негодованіе пришелъ...

– Ну, это что! – протянулъ Рославлевъ, – можно все сравнять, а... все-таки она – публичная женщина, а я...

– А ты – человѣкъ, который этой публичной женщиной пользуешься!.. А впрочемъ и не въ томъ дѣло... Скажи ты мнѣ на милость, за что мы это такъ презираемъ эту самую «публичную женщину»? Что онѣ... зло кому-либо дѣлаютъ?.. Вѣдь у насъ воровъ, убійцъ и насильниковъ всякихъ меньше презираютъ... Себя-то презирать трудно, такъ давай другого презирать за свои же... А впрочемъ и это не то, – перебилъ себя Семеновъ, махнулъ рукой и сталъ наливать чай.

– А, что? – глядя на него съ удивленіемъ, спросилъ Рославлевъ.

«Нѣтъ, его нельзя просить объ этомъ!» – сказала онъ себѣ съ досадливымъ чувствомъ.

– Да что... ни къ чему все это! – грустно проговорилъ Семеновъ и замолчалъ. Рославлевъ помолчалъ тоже.

– Вотъ ты говоришь, кому онѣ зло дѣлаютъ, – нерѣши-

тельно заговорилъ онъ, подыскивая слова, чтобы высказать свою просьбу, и не находя ихъ: – а сифились развѣ не зло?

Семеновъ вдругъ сдержанно и грустно улыбнулся.

– Болѣзнь, братъ, всякая – зло, самое скверное зло... это я тебѣ скажу! И сифились – зло... но только, если бы я могъ, – вдругъ опять озлобляясь, заторопился онъ, расширяя зрачки, – такъ я бы эту дрянъ, которая слюнки распускаетъ за всякой бабой, заражается, а потомъ еще и хнычетъ, и лѣчить бы не сталь!..

«Нѣтъ, его нельзя просить», – опять подумаль Рославлевъ и всталъ.

– Ну, ты, братъ, сегодня какой-то... Пойду я лучше на бильярдъ поиграю...

– И я тебѣ еще вотъ что скажу, – машинально подавая ему руку и не замѣчая, что онъ уходитъ, продолжалъ Семеновъ: – если люди хотятъ и считаютъ нужнымъ исправлять другихъ, такъ это прежде всего – ихъ собственное желаніе... ну, ихъ собственная потребность тамъ, что-ли... А въ такомъ случаѣ не ихъ должны униженно благодарить за это, а они должны прилагать всѣ старанія, чтобы еще удостоились другіе исправляться-то по ихнему!.. Вотъ!

Рославлевъ, уже надѣвшій шинель и фуражку, бессмысленно посмотрѣлъ на него и сказалъ:

– Къ чему это ты?

– Да ты же вотъ... самъ лѣзешь съ исправленіями и самъ же...

– Да она сама попросила.

– Сама?.. Да ты же рассказываешь, что она въ тебя влюбилась... Она... она у тебя счастья, человекка искала... ей постоянное животное презрѣніе опротивѣло... А ты что ей преподнесъ? Добродѣтель картонную... Да развѣ нужна добродѣтель несчастному человеку? Эхъ, вы!..

– Что ты говоришь, ей-Богу..?! – съ досадой сказалъ Рославлевъ, уходя.

Но Семеновъ со злобой и съ накипающими почему-то слезами жалости къ самому себѣ пошелъ за нимъ въ темную переднюю. Рославлевъ возился съ калошами, а Семеновъ продолжалъ говорить.

– Неужели ты до сихъ поръ не понимаешь, что добродѣтель нужна и хороша только сытому брюху!

– Слыхали мы это! – пробормоталъ Рославлевъ, котораго начало тяготить это, непонятное ему, озлобленіе и хриплый, тонкій голосъ больного.

– Нѣтъ, не слыхали! – закричалъ Семеновъ со злыми слезами въ голосъ и размахивая руками. – А это правда! Я тебѣ это говорю... Я вотъ умираю и знаю это теперь... теперь меня никто не надуетъ жалкими словами! Счастье нужно, здоровье нужно, но умирать нужно, а не... вотъ...

Рославлевъ взялъ его за пуговицу и, глядя ему въ лицо сверху внизъ, добродушно проговорилъ:

– Ну, счастье... Я тебя и хочу просить... Я больше всего хочу, чтобы она была счастлива... – и лицо у него стало са-

модовольно-скромное.

– А ты женись на ней... любить тебя и женись!.. Вот и счастье... пока, на первый случай!..

– Глупости, – искренно и машинально засмѣялся Рославлевъ, – а мнѣ въ самомъ дѣлѣ кажется, что она не на шутку того... Голубчикъ, пойди къ ней завтра... она въ больницѣ теперь сидѣлкой... Отдай ей деньги и скажи, что это отъ меня на машинку и тамъ... А то, ей-Богу, невозможное положеніе получилось... Чортъ знаетъ, что такое... Вѣдь не могу же я на ней въ самомъ дѣлѣ жениться!

Семеновъ молча посмотрѣлъ въ его покраснѣвшее, пухлое и здоровое лицо.

– И какая же ты дрянь! – съ страшной ненавистью задавленнымъ голосомъ проговорилъ онъ.

– Что? спросилъ, не разслышавъ Рославлевъ. Онъ былъ почти вдвое больше Семенова, и отъ всего его здороваго тѣла дышало страшной силой и самоувѣренностью.

– Дрянь ты, говорю! – повторилъ Семеновъ, но противъ воли его голосъ былъ уже шутливый и игривый.

– Ну, пускай! – самодовольно и весело улыбнулся Рославлевъ. – А ты все-таки будь другомъ, устрой это дѣло... а?

Жидкіе волосы прилипли къ холодному лбу Семенова, ему было трудно стоять, жалко себя и стыдно того, что онъ сказалъ.

– Хорошо, – проговорилъ онъ и скосилъ глаза въ уголь. Рославлевъ крѣпко и дружелюбно пожалъ ему руку.

– Ну, вотъ спасибо! А теперъ я пойду... Такъ сходишь завтра?

– Схожу.

– Ну, до свиданья.

– До свиданья,

Рославлевъ отворилъ дверь и вышелъ на лѣстницу, оборачиваясь и улыбаясь Семенову. Дверь затворилась, и слышно было, какъ онъ медленно спускался внизъ. Семеновъ остался одинъ въ полутемной передней. Съ минуту онъ стоялъ неподвижно и все больше и больше блѣднѣлъ, а потомъ вдругъ сорвался съ мѣста, выскочилъ на холодную лѣстницу и, перегнувшись всѣмъ тѣломъ черезъ перила, сорвавшимся голосомъ, съ невѣроятной злостью и презрѣніемъ изо всѣхъ силъ крикнулъ въ пустоту:

– Сволочь проклятая!

Голосъ гулко задробился въ пустыхъ пролетахъ лѣстницы, а Семеновъ, дрожа всѣмъ тѣломъ и отъ пронизывающаго холода, и отъ злого возбужденія, долго прислушивался, свѣсившись внизъ, пока ему не стало чего-то жутко въ этомъ пустомъ молчаливомъ мѣстѣ, слабо освѣщенномъ плохими коптящими лампочками.

XII

Дежурная сидѣлка, измучившаяся за ночь, разбудила Сашу и прошла будить другихъ. Было еще совсѣмъ темно, въ окна проникалъ только слабый, тоскливый и тусклый сѣрый свѣтъ, было сыро и холодно въ огромномъ, остывшемъ за ночь, сыромъ зданіи. Вся дрожа такъ, что зубы дробно стучали, и чувствуя какъ все тѣло сжимается, покрываясь неприятными пупырышками, Саша торопливо одѣлась. На другихъ кроватяхъ тоже молча дрожали смутно видныя въ полумракѣ сидѣлки. Та, которая будила, не раздѣваясь, повалилась на сосѣдную кровать и сейчасъ же заснула; Саша видѣла ея блѣдное, казавшееся мертвымъ и синимъ при блѣдномъ свѣтѣ, лицо, съ замученными, впавшими щеками и темными вѣками.

Все еще дрожа и стараясь собственными движеніями согрѣться и удержать дрожь, Саша пошла внизъ, въ столовую для служащихъ. Столовая была въ подвальномъ этажѣ и въ ней было еще холоднѣе и сырѣе и такъ темно, что горѣли электрическія лампочки, подвѣшенныя къ низкому сводчатому потолку.

За такимъ же точно зеленоватымъ столомъ, какіе были въ пріютѣ, Саша, торопясь и обжигая губы, напилась чаю, грѣя лицо и руки надъ горячимъ паромъ.

— Рукъ не отогрѣешь! — проговорила она.

Сидѣвшая рядомъ толстая и старая сидѣлка молча посмотрѣла на посинѣвшія руки Саши и равнодушно отвернулась.

«Экія всѣ непривѣтливья!» – подумала Саша. – «Всѣ тутъ такія!».

Она уже замѣтила это и поняла, что это оттого, что работа тутъ очень тяжелая, скучная, противная, и живутъ сидѣлки скучно, однообразно, постоянно другъ у друга на глазахъ, среди однообразно мучающихся, тяжело пахнущихъ, капризничающихъ, однообразно умирающихъ людей.

«Ну, и жизнь!» – подумала она, вставая и относя свою кружку на мѣсто. – «Вотъ ужъ ни за что не осталась бы тутъ!.. А вонъ живутъ же, тутъ и старѣютъ... ни свѣта, ни радости! Господи... Кабы не Митенька, такъ бы и плюнула на все...»

– Козодоева, васъ больная зоветъ! – сказала сидѣлка и прошла, звякая пузырьками.

Саша вздохнула, поправила волосы и пошла опять наверхъ по пустой, черезчуръ широкой и чистой лѣстницѣ, по которой странно-дико отдавались ея шаги.

Въ комнатѣ больной баронессы было душно и не только тепло, а даже парно, какъ въ предбанникѣ. Пахло лекарствами, духами, которыми душили въ комнатѣ, чтобы заглушить нудный, сладковатый и острый запахъ разлагающагося чело-вѣка. Сашѣ даже въ голову ударило, когда она вошла въ эту атмосферу изъ холоднаго коридора.

Баронесса лежала на спинѣ, глядя на дверь запавшими

больными и раздражительными глазами; уголки губъ у ней всей опускались, и она судорожно, болѣзненно-торопливо перебирала по одѣялу тонкими пальцами. На той груди, которую ѣлъ ракъ, не поддававшійся операціямъ, лежалъ пухъ со льдомъ, обернутый полотенцемъ.

– Господи, – капризнымъ страдающимъ голосомъ встрѣтила она Сашу, – васъ не дозовешься... Эта дура ничего не умѣетъ... Я всю ночь не спала... Льду дайте... Поверните меня-а...

Ея слабый, нудный голосъ капризно звенѣлъ Сашѣ въ ухо, когда она, подсунувъ руки подъ странно-тяжелое, вялое тѣло баронессы, поднимала его на подушки.

– Выше... еще... Господи, да больно же... еще...

Отъ мокрой больнымъ потомъ рубашки ея пахнуло въ ротъ и лицо Саша тяжелымъ запахомъ. Простыни подъ ней сбились и были горячія, противныя.

– Чаю хотите или молока принести? – спросила Саша, запыхавшись отъ усилій и поправляя разбившіеся волосы.

Баронесса не сразу отвѣтила, въ упоръ глядя на нее злыми отъ болѣзни, темными глазами.

– Молока? – повторила Саша.

– Ахъ, да конечно же! Вы же знаете, что я пью по утрамъ! – раздражительно отвѣтила баронесса. Саша промолчала и пошла за молокомъ. «И ни чуточки мнѣ ея не жаль, – подумала она о баронессѣ, сходя съ лѣстницы: – она и здоровая, должно, такая же злая была...»

Первый день Саша жалѣла баронессу и ей казалось страшно и странно, что вотъ эта женщина больна, что у нея гнѣтъ тѣло и она скоро умретъ, но тяжелая и противная забота возлѣ нея скоро притупила это чувство, и, какъ тѣ два сѣдые мужика въ бѣлыхъ фартукахъ, которые равнодушно протащили навстрѣчу Сашѣ бѣлыя носилки для кого-то умершаго ночью, протащили, ругаясь мѣжду собой изъ-за какой-то простыни, Саша уже совершенно машинально ухаживала за больной, переворачивала ее, носила посуду, кормила, думая совсѣмъ не о ней, а о себѣ. Молоко уже скисло и Саша пошла назадъ.

– Неужели вы не можете скорѣе... О, Господи, – чуть не скрежеща зубами, встрѣтила ее баронесса, съ ненавистью безконечной зависти больного и несчастнаго человѣка къ здоровому и счастливому тѣмъ.

– Чего ужъ скорѣе, – досадливо пробормотала Саша.

– Не смѣйте грубить мнѣ! – взвизгнула баронесса.

Саша промолчала.

– Опять молоко... сколько разъ кипѣло?

– Два.

– Неправда... врите... вскипятите еще разъ.

– Да, ей-Богу, два, – улыбнулась Саша.

– А я говорю нѣтъ... какъ вы смѣете спорить. Я говорю прокипятите еще разъ...

Саша пошла внизъ.

День понемногу разсвѣталъ, и въ коридорахъ стало свѣт-

ло и тепло. Сквозь огромныя окна полились цѣлые потоки солнечныхъ лучей, но больница не замѣчала ихъ, наполненная своей тошной, тяжелой умирающей жизнью. И Саша не замѣчала этого свѣта и тепла, дѣлала тяжелое безрадостное дѣло, поднимала больныхъ, кормила, давала лекарства, потомъ обѣдала внизу въ подвальной столовой.

Послѣ обѣда она поссорилась съ своей больной.

– Дрянъ!.. – кричала баронесса, захлебываясь слезами и бессильной злостью. – Какъ вы смѣете мнѣ грубить! Вы знаете, кто я и кто вы!..

Саша, испугалась и обидѣлась. Съ тѣхъ поръ, какъ она ушла изъ публичнаго дома, никто не кричалъ на нее такъ, и ей уже казалось, что и никогда никто не будетъ ее ругать, что никто не имѣетъ теперь на это права.

Въ этомъ рѣзкомъ крикѣ ей вдругъ послышались тѣ же самыя обиды, которыми осыпали ее въ прошлой жизни, и ей показалось на мгновеніе, что онъ опять сидитъ на полу, закрываясь руками, а на голову и спину ея больно сыпятся удары «тетеньки». И когда вдругъ больная притихла, поблѣднѣла и, прищуривъ глаза, какъ-то хитро и упрямо толкнула ее костлявымъ и слабымъ кулакомъ въ плечо, Саша сразу заплакала и, закрывая лицо руками, ушла.

– Господи, Боже мой, – прошептала она: – хоть бы скорѣе вырваться въ настоящую жизнь!.. Чтожъ это такое... Митенька, мой милый! Что жъ ты... И она сама не знала, чего ждала отъ него. Такъ прошелъ день, тяжелый, скорбный, и

сучный. Совсѣмъ передь вечеромъ сидѣлка пришла и позвала Сашу.

– Тамъ васъ спрашиваютъ. – сказала она.

– Пришель! А я-то... глупая! – чуть не вскрикнула Саша и почти бѣгомъ, легкая и радостная, вся замирая отъ любви и ожиданія чего-то невѣроятно-радостнаго, свѣтлаго, побѣжала по коридору.

Семеновъ въ худомъ длинномъ сюртукѣ, прорванномъ подь мышками, и съ шапкой въ рукахъ стоялъ въ коридорѣ.

– Вы – Козодоева? – спросилъ онъ сердито, сердясь вовсе не на нее, а на увеличившуюся въ этотъ день отдышку и боль въ груди.

– Я, отвѣтила Саша сразмаху останавливаясь передь нимъ.

– Я къ вамъ отъ Рославлева, – сказалъ Семеновъ.

– Ахъ, пожалуйста, – почему-то сказала Саша и покраснѣла. – Они не больны? – тревожно прибавила она.

– Нѣтъ, здоровъ... должно быть, – сердито отвѣтилъ Семеновъ и закашлялся.

Саша молчала.

– Рославлевъ просилъ меня сказать вамъ, что онъ теперь уѣзжаетъ и, вѣроятно, долго не будетъ... то-есть не то, а просто... вотъ вамъ тутъ деньги, – сквозь кашель со злостью выкрикнулъ Семеновъ, не глядя на Сашу и доставая изъ кармана пакетъ, который онъ самъ тщательно склеилъ утромъ, – и если вамъ тутъ не нравится, такъ онъ похлопочеть... мѣсто

въ магазинѣ портнихи, мадамъ Эльзы, что ли...

Саша молчала. Семеновъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее и стоялъ, неловко протянувъ деньги.

Было такъ тихо, что слышно было какъ ходилъ кто-то, шаркая туфлями и звонко плюя куда-то.

– Возьмите деньги, – сердито проговорилъ Семеновъ.

У него кружилась голова отъ слабости и въ ушахъ звенѣло, и ему уже не было дѣла ни до кого и ни до чего на свѣтѣ, кромѣ тупой, ноющей боли въ груди. Саша взяла.

– Больше ничего? – спросилъ Семеновъ.

– Ничего, – только прошевелила губами Саша.

Семеновъ помолчалъ.

– Ну, прощайте.

– Прощайте.

Семеновъ пошелъ прочь, согнувъ спину и покашливая.

Саша долго и тихо стояла и смотрѣла въ спускающуюся съ лѣстницы худую, потертую спину студенческаго сюртука; потомъ положила деньги въ карманъ и пошла въ «дежурную» комнату. Тамъ она прилегла на кровать и сжалась въ комокъ, точно стараясь, чтобы никто ея не видѣлъ.

– Больны, Козодоева? – спросила сидѣлка.

– Неможется, – тихо отвѣтила Саша.

– Долго ли тутъ заболѣть! – съ ненавистью къ кому-то проговорила сидѣлка. – Такъ я за васъ поставлю дежурную, а вы полежите. Градусникъ поставьте.

– Хорошо, – покорно отвѣтила Саша.

На этой кровати съ маленькой, жесткой кожаной подушкой, которую она помнила всю жизнь, Саша пролежала весь вечер и ночь.

XIII

Передъ глазами у нея колыхались въ темнотѣ и расплывались золотые круги и, какъ будто гдѣ-то внутри глазъ отчетливо освѣщенные внутреннимъ свѣтомъ, выплывали, стояли и расплывались одни за другими лица, сцены и люди. Все, что Саша видѣла и слышала за эти дни, вставало передъ нею, и она ясно чувствовала, что оборвалась какая-то выдуманная ею самой связь, что она и теперь такъ же одна, никому ненужная, несчастная, какъ и прежде.

«Ну, чтожъ... не любить, такъ не любить, – машинально думала она, всматриваясь въ ожидающій знакомыми образами мракъ. – Я думала... Мало ли чего я думала... Развѣ такихъ любятъ? Знай свое мѣсто!»

Проплыль передъ нею модный магазинъ, въ которомъ она работала, прежде чѣмъ сбилась на улицу, и Саша будто почувствовала даже ощущение тоненькой иголки и боль въ пальцахъ и въ спинѣ. Согнутыя за вѣчной скучной и ненужной имъ самимъ работой, прежнія подруги ея смутно рисовались ей.

«Опять, значить, въ эту каторгу!» – съ ужасомъ вдругъ, точно просыпаясь, чуть не вскрикнула Саша. – Да за что?.. Развѣ для того я всю эту муку перенесла, чтобы опять всю сначала начать?.. Тутъ оставаться? Всегда за больными ходить... безъ свѣта, безъ радости... Да развѣ я того хотѣла,

когда изъ той жизни ушла?

Раздался нерѣшительный, подавленный звукъ и потухъ въ темнотѣ.

«А вѣдь это я плачу» – мелькнуло у Саши въ головѣ.

Слезы выбѣжали на напряженные глаза, и золотые круги закрутились, исчезли, все пропало, и она уже ясно почувствовала себя и то, что съ ней дѣлается, и что встало впереди.

Что-то придавило сначала легонько, а потомъ съ мучительной силой сердце Саши, и жалость къ себѣ наполнила всю ее. Она сдѣлала усиліе, чтобы поймать что-то, и вдругъ поняла, что ей жаль того свѣтлаго, тихаго и радостнаго умиленія, которое она испытала въ первую ночь въ пріютѣ, когда лежала на кровати, смотрѣла на сѣрѣющее пятно окна и ждала, что съ завтрашняго дня начнется новая жизнь, какая-то удивительно чистая и счастливая.

«Дура, дура! – съ горькимъ упрекомъ сказала она себѣ; – ничего этого нѣтъ...»

Гдѣ-то далеко провизжала на блокѣ и хлопнула дверь, кто-то волоча ноги прошелъ по коридору, а потомъ застонала умиравшая въ третьей палатѣ чахоточная.

Саша вспомнила звукъ рояля подъ пальцами Любки, тоскливый и одинокій звукъ, мгновенно родившійся и мгновенно исчезнувшій, и ей представилось, что это не больная стонетъ, а рояль подъ пальцами погибающей Любки.

«И выходить, что Любка всѣхъ лучше поступила, – пришло ей въ голову, – умерла и нѣтъ ея... коли нѣтъ счастья,

такъ и самой ея нѣтъ!.. И чего мучилась?.. Коли нѣтъ счастья, такъ не все ли равно, гдѣ жить, какъ жить... „Исправляютъ!“ – вспомнила она слова Ивановой: – проклятые...»

Кто-то, тяжело ступая, подошелъ къ двери и отворилъ ее. Черная тѣнь заслонила полосу яркаго свѣта, ворвавшася черезъ всю комнату изъ освѣщеннаго коридора.

– Козодоева... Александра! – позвала фельдшерица своимъ безнадежно тусклымъ голосомъ, выцвѣтшимъ въ однообразно тяжелой жизни больницы.

– А? – отозвалась Саша и сѣла на кровать.

– Идите ради Создателя къ своей... зоветь васъ... замучила! – скучающимъ и просительнымъ тономъ сказала фельдшерица.

Саша машинально одѣлась и вышла, щурясь отъ свѣта усталыми безжизненными глазами.

– Капризничаетъ невыносимо... никто не угодить...

Саша смотрѣла на ея молодое и очень некрасивое, безцвѣтное лицо съ сѣрыми волосами, пропитанными запахомъ іодоформа и карболки, съ тусклыми глазами, съ безрадостнымъ выраженіемъ въ уголкахъ опустившагося рта.

«Такой и мнѣ быть!» подумала она съ испугомъ.

И внезапно что-то протестующее, сознающее свое право, сильное и молодое вспыхнуло въ ней.

– Всѣ онѣ такія, – сказала она со злостью и пошла по коридору.

Въ комнатѣ баронессы было такъ же душно и полутемно.

Баронесса опять лежала на спинѣ и лихорадочно-блестящими глазами встрѣтила Сашу.

– Чего вамъ? – спросила Саша и сама удивилась своему злому и грубому голосу.

– Сколько разъ я вамъ говорила, что я не могу такъ... не могу! – съ плаксивой злобой напряженно за-кричала баронесса.

– Чего? – съ недоумѣніемъ спросила Саша.

– Вы не знаете?.. Ахъ, хорошо! Сколько разъ я говорила вамъ, что не могу, чтобы мнѣ прислуживали разныя... Она ничего не знаетъ! Я требую прислуги, которая бы мнѣ... которая бы знала мои привычки! А это Богъ знаетъ что... Я буду жаловаться!

Саша смотрѣла на нее и что-то странное происходило у нея въ головѣ.

– Куда вы пропали?

– Я спала... вѣдь...

Баронесса дернулась всѣмъ тѣломъ.

– Спали? Ахъ, скажите пожалуйста... такъ васъ потревожили?..

Саша вдругъ подошла къ ней близко и нагнулась.

– У меня свое горе случилось, барыня... – проговорила она тихимъ и выразительнымъ голосомъ.

Баронесса удивленно помолчала.

– Какое горе? Что вы говорите?

– Меня любовникъ бросилъ... человѣкъ любимый, – такъ

же тихо поправила Саша, въ упоръ глядя въ глаза баронессѣ.

– Что?.. Да мнѣ какое дѣло? – вскрикнула баронесса. – Скажите, какія нѣжности!..

– А вы вонъ плачете, когда письма читаете, – упорно, точно подхваченная чѣмъ-то, продолжала Саша. Баронесса поблѣднѣла, въ ея лицѣ мелькнуло то мягкое и растерянно-жалкое выраженіе, какое бываетъ у всѣхъ людей, у которыхъ нѣтъ счастья.

Тѣ письма, о которыхъ говорила Саша, были письма отъ ея мужа, давно не посѣщавшаго больной и скучной жены.

Но баронесса преодолѣла свое чувство, считая унижительнымъ выдать его такому ничтожному человѣку, какъ Саша.

– Вы, кажется, сравниваете меня съ вами? – высокомерно проговорила она.

– Все равно. – сказала Саша: – всѣмъ счастья хочется... что вамъ, что мнѣ!

– Счастья... скажите пожалуйста! Вы не для счастья здѣсь, а для того, чтобы ухаживать за больными!.. Дѣлайте свое дѣло... Подымите меня!

Саша не тронулась съ мѣста.

– Да вы слышите или нѣтъ?

– А вы бы стали ухаживать за больными? – спросила она.

Баронесса съ испугомъ и ненавистью скосила на нее блестящій больной глазъ.

– Я уже сказала вамъ! Не смѣйте сравнивать меня и себя...

Вы... вы должны быть счастливы, что вамъ дышать позволили!.. Дрянь! – сорвалась баронесса.

– Эко счастье! – усмѣхнулась, какъ въ какомъ-то бреду, Саша. – Дышать вездѣ можно... дорого за дыханье-то берете... вы!

– Да какъ ты смѣешь со мной говорить такъ, – крикнула въ изступленіи баронесса и прибавила скверное и грубое слово, гдѣ-то слышанное ею. – Я велю вышвырнуть тебя отсюда, несчастная!.. На улицѣ сгніешь! – крикнула она.

Холодное и тяжелое чувство прошло по Сашѣ и вырвалось рѣзкимъ крикомъ:

– Ну, и пусть! Экъ напугали... Всѣ сгніемъ... вы еще скорѣе меня!

– О... – испуганно и жалко вскрикнула баронесса.

Что-то злобно-веселое подхватило Сашу, и точно мстя кому-то, она кричала:

– Ну, да... сгніете, сгніете... вы и теперь уже гніете!.. Вы честная... чтобъ вамъ!..

Баронесса что-то слабо и неясно выговорила, подняла руку и зарыдала. И рыданіе это было такъ безконечно жалко и страшно, что Саша, расширивъ глаза, замолчала, а потомъ съ ужасомъ и гнѣвомъ выскочила въ коридоръ и побѣжала прочь.

На дворѣ уже свѣтало.

Саша подошла къ запотѣвшему окну и, глядя на смутно виднѣвшуюся улицу, взялась за голову и сказала громко и

протяжно:

– Всѣ сгніемъ... и я и всѣ... кабы радость какая! А такъ все равно! Скучно... ску-учно!..

Мимо окна съ тусклымъ дребезжаньемъ пронеслась карета съ зажженными фонарями. Рослая лошадь стлалась по мостовой, и Саша замѣтила важнаго, вытянувшего руки кучера.

«Съ балу, должно, – подумала она, – такъ ежели бы... а то!.. Что жъ?.. Богъ съ ними совсѣмъ... Кучерь-то, чай, всю ночь сидѣлъ, ждалъ, – почему-то пришло ей въ голову. – Ахъ ску-учно!.. За что?..»

За окномъ блестяла мокрая мостовая. И глаза у Саши стали мокрые, какъ мостовая, и ей показалось, что вся она слилась въ одно съ этой мостовой, сѣрымъ небомъ, сѣрымъ мокрымъ городомъ, будто нигдѣ нѣтъ ничего яснаго, чистаго, живого, а только одна больная, бессмысленно-нудная слякоть.

И это ощущение, противное и неестественное въ молодомъ, полномъ силы, красоты и желанія счастья существѣ, прошло только тогда, когда Саша въ новомъ стального цвѣта, красивомъ платьѣ, купленномъ на деньги Рославлева, въ огромной прелестной шляпѣ вошла въ залъ «Альказара» и въ зеркалѣ увидѣла то, что любила больше всего: самое себя, красивую, нарядную, прелестную съ ногъ до головы:

И уже когда она была совсѣмъ пьяна, Саша выговорила:
– Чортъ съ вами со всѣми!

Пьяный, веселый господинъ въ блестящемъ цилиндрѣ за-
смѣялся.

– Что такъ?

Саша безшабашно махнула рукой.

– Поѣдемъ, миленькій... все равно!..

И ночью, въ его объятіяхъ, отъ вина и безшабашнаго уга-
ра Сашѣ было пріятно, шумѣло въ головѣ и казалось, что ве-
село. Утро встало сѣрое, мертвое, безконечно и безнадежно
печальное...